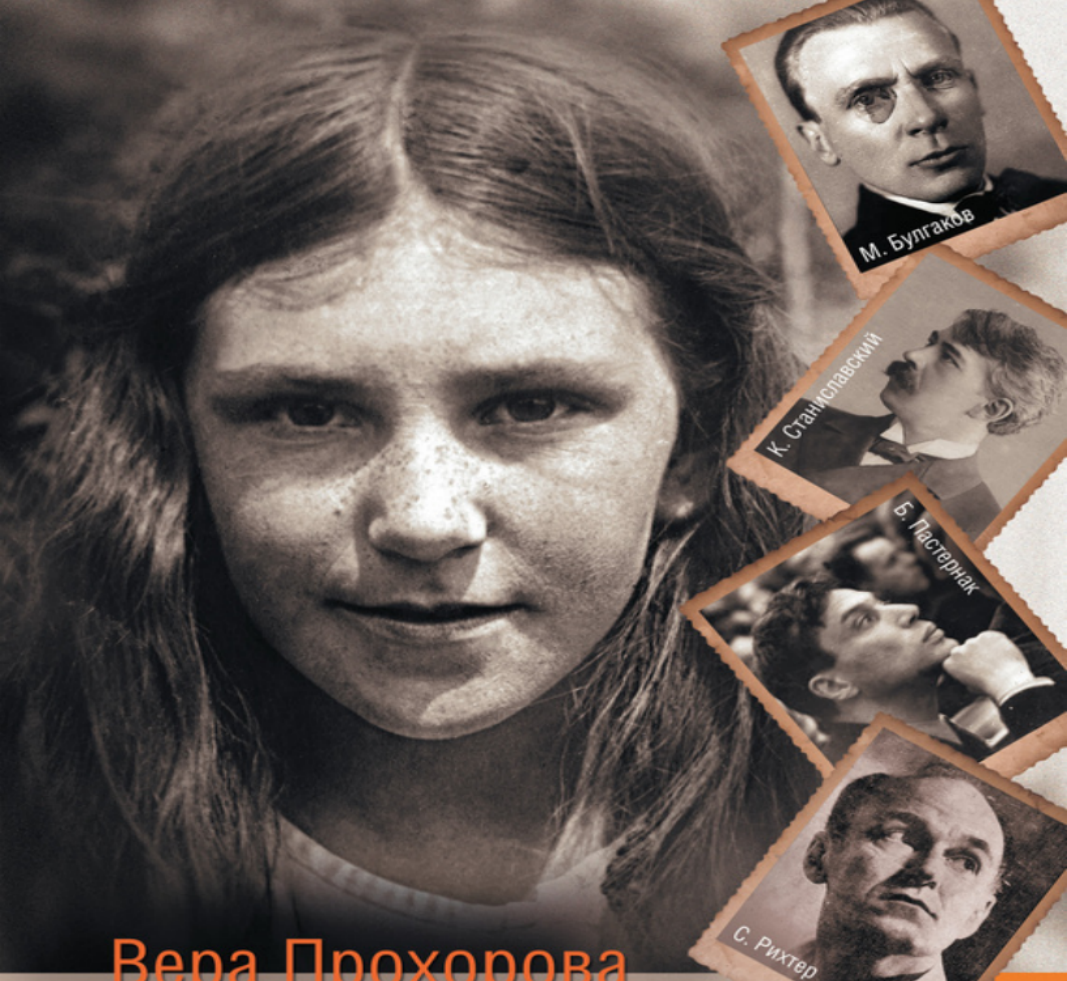

Вера Прохорова

Четыре друга на фоне столетия

Рихтер, Пастернак, Булгаков, Нагибин и их жены

Мемуары в письмах и воспоминаниях

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вы держите в руках мемуары удивительной женщины, которая создавала их на протяжении всей жизни. В этой книге много действующих лиц: Борис Пастернак и Михаил Булгаков, Константин Станиславский и Марина Цветаева, знаменитый профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз и сталинский нарком Ежов, Юрий Нагибин и Белла Ахмадулина, художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева и многие другие — великие и не очень — персонажи.

- Вера Прохорова
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ Пролог
  - ○ Глава 1
    - ■ Линия жизни
      - ■ Вера Прохорова
  - ○ Глава 2
    - ■ Линия жизни
      - ■ Святослав Рихтер
      - ■ Нина Дорлиак
  - ○ Глава 3
    - ■ Линия жизни
      - ■ Борис Пастернак
    - ■ Зинаида Пастернак
  - ○ Глава 4
    - ■ Линии жизни
      - ■ Михаил Булгаков
      - ■ Елена Булгакова
  - ○ Глава 5
    - ■ Линия жизни
      - ■ Юрий Нагибин
  - ○ Глава 6
    - ■ Линия жизни
      - ■ Роберт Фальк
  - ○ Эпилог

Вера Прохорова
Четыре друга на фоне столетия

«Встреча с Верой Прохоровой стала для меня большим счастьем и великой честью. Ее воспоминания — это неизвестная история двадцатого столетия. Слушая Веру Ивановну, я понимал, что должен написать о ней книгу».

Игорь Оболенский Журналист, сценарист, писатель
igorobolensky.com

Автор биографии Анны Павловой и дилогии «Судьба красоты. Истории грузинских жен» и «Цена чести. Истории грузинских мужей», переведенной на грузинский, английский и французский языки.

Книга «Судьба красоты» легла в основу многосерийного документального фильма.

Предисловие

«Слава Богу», — отвечаю я сегодня на вопрос, как поживаю. Я родилась в 1918 году, и повидать мне довелось немало. Жизнь была непростой, и случалось в ней всякое.

Но все-таки я могу назвать себя счастливым человеком, так как судьба баловала меня встречами и знакомствами с удивительными людьми, у меня были замечательные родители, дяди и тети, бабушки и дедушки.

Конечно, мне есть о чем вспомнить. Но о том, что из этих воспоминаний может родиться книга, я даже не задумывалась. Хотя бы просто потому, что сама никогда не смогла бы этого сделать.

Этот сборник родился в результате наших бесед с Игорем Оболенским. Все началось просто с разговора о Святославе Рихтере, самом близком и дорогом мне человеке. И как-то самой собой переросло в беседы о тех прекрасных людях, которых мне посчастливилось знать.

Игорю показались интересными мои истории. А меня приятно удивили его аккуратность, внимание и настойчивость, с которыми он — признаюсь честно, неожиданно для меня — взялся за их описание.

Так, собственно, и родилась эта книга.

Вера Прохорова

01.10.2011

Пролог

Эти записи я начал делать в 1999 году.

Поначалу хотел просто сделать очерк для газеты.

Но потом понял, что из монологов моей собеседницы может получиться настоящая биография XX века.

В этой книге много действующих лиц: Борис Пастернак и Михаил Булгаков, Константин Станиславский и Марина Цветаева, знаменитый профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз и сталинский нарком Ежов, Юрий Нагибин и Белла Ахмадулина, художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева и многие другие — великие и не очень — персонажи.

Но главных героев всего двое — Вера Ивановна Прохорова, удивительная женщина, чья судьба пропустила через себя все коллизии и трагедии ушедшего столетия.

И пианист Святослав Рихтер, чья жизнь оказалась неразрывно связана с Верой Ивановной.

Выдающийся пианист Генрих Нейгауз, учитель и друг Рихтера, в одном из своих писем ему писал: «Мне бы следовало лет пятьдесят писать, „набивая руку“, чтобы написать о тебе хорошо и верно».

Я осмелился поставить точку в этой книге через одиннадцать лет…

* * *

Святослав Рихтер жил не один.

Камерная певица Нина Дорлиак стала для пианиста гражданской супругой. Но самым близким человеком для Рихтера на протяжении почти шести десятилетий оставалась Вера Прохорова.

Может, потому, что познакомились они, когда Светик, как его называла Вера Ивановна, только-только приехал в Москву. И все у них еще было впереди — у Рихтера слава и плата за свой великий талант, а у Прохоровой — годы лагерей, потом освобождение, работа в институте иностранных языков и дружба со Светиком.

Випа (так, по инициалам имени, отчества и фамилии, ее называют близкие люди) всю жизнь прожила одна. И Рихтер неизменно приходил в ее маленькую комнату в Фурмановом переулке, а затем в такую же небольшую, правда, уже отдельную квартирку в Сивцевом Вражке.

Меня с Верой Ивановной познакомил друг.

«Випа дружила с Рихтером и хочет тебе рассказать о нем. Может, ты потом что-нибудь напишешь».

Вере Ивановне действительно было что рассказать. И, как оказалось, не только о Рихтере.

Когда зимой 1999 года я только перешагнул порог дома Прохоровой, мне вспомнилось точное, не потерявшее с годами яркости, из-за, возможно, чрезмерной красоты и образности, высказывание Виктора Шкловского. Знаменитый писатель в свое время сравнил дверь квартиры Лили Брик с обложкой книги, которую ему посчастливилось приоткрыть.

Впервые придя к Вере Ивановне, я еще не знал, какие удивительные истории предстоит мне услышать. Но сразу почувствовал, что произошла Встреча, о которой можно только мечтать.

Слушая и записывая монологи своей собеседницы, я удивлялся только первое время. А потом, привыкнув к тому, что Прохорова видела и знала едва ли не всех выдающихся людей прошлого (двадцатого) века (со знаковыми же фигурами века девятнадцатого она была связана родственными узами), я уже просто приходил и предлагал: «А давайте сегодня поговорим о Пастернаке». И Вера Ивановна тут же откликалась на мою просьбу и начинала свой рассказ.

Иногда я действовал наудачу, спрашивал: «А вы видели Булгакова?»

И получал в ответ невозмутимое: «Ну как же, мы ведь были соседями».

И далее следовал монолог о писателе и его жене, с которой, как оказалось, Вера Ивановна тоже была в хороших отношениях.

Иногда я ловил себя на желании поправить Прохорову, мол, официально считается, что то, о чем она говорит, обстояло совсем по-другому.

Но вовремя одергивал себя. В конце концов, я об этом читал в книге, а Прохорова видела своими глазами или, по меньшей мере, слышала от тех, кто видел.

И потом, мы ведь не писали с ней учебник истории.

Скорее, у нас получалась «книга судеб».

Вера Ивановна рассказывала то, что знала. И то, что могла знать только она.

* * *

Она никогда не была замужем.

Но и одна, кажется, бывала не часто — то и дело к ней забегал кто-нибудь из студентов или родственников.

Однажды я застал у Прохоровой ее двоюродную внучку. Улучив момент, когда хозяйка отлучилась на кухню — каждый раз она настойчиво требовала, чтобы наши разговоры сопровождались чаепитием, — внучка неожиданно и, как мне показалось, даже с какой-то злобой произнесла: «О Рихтере, значит, расспрашиваете? А вы знаете, что он сломал моей бабушке жизнь? Потому что самое ценное, что было в ее жизни, — это открытки, чемодан с которыми лежит под ее кроватью?!»

В этот момент в комнату вернулась Вера Ивановна.

Внучка, не желая продолжать начатую тему, убежала по каким-то своим делам. И больше наши пути с ней не пересекались.

Но я ее слова запомнил. Тем более что, как оказалось, она сказала правду — открытками Рихтера Вера Ивановна действительно дорожила.

Я приходил к Вере Ивановне много раз.

Перед тем как начать разговор, мы неизменно собирались выпить чаю. Расставляли чашки, раскладывали конфеты, пирожные и, налив в электрический чайник воду, включали его.

Но почти никогда до чая не доходило. Потому что, только открыв мне дверь, Прохорова едва ли не сразу начинала что-то рассказывать.

И, кажется, полностью переносилась в свое прошлое.

Как-то она заметила: «Я ведь пережила всех, о ком вспоминаю. Нет ни Светика, ни Бориса Леонидовича, ни Зины, ни Юры Нагибина, ни Роберта Рафаиловича. Пустота вокруг. А я, как ни странно, жива. Может, для того, чтобы успеть рассказать о них?»

И она вспоминала.

Чашку с уже остывшим и ставшим иссиня-черным от забытого в ней пакетика с заваркой чая Вера Ивановна замечала только через пару часов.

Вера Ивановна оказалась неповторимой рассказчицей.

Когда мы только познакомились, ей уже был 81 год. Достойный возраст для человека с прекрасной памятью и завидным чувством юмора.

Но и за те десять лет, в течение которых мы делали эту книгу, она, кажется, почти не изменилась.

То же поразительное внимание к деталям судеб своих великих современников, цепкость памяти и ироничное отношение к себе.

Во время одной из наших встреч ей по телефону позвонил кто-то из племянниц.

Узнав тему нашей беседы (мы говорили об отречении Николая Второго и роли, которую в этом сыграл двоюродный дед Прохоровой), девушка строго, как мне показалось, поправила неточность Веры Ивановны в датах.

Та виновато улыбнулась и произнесла в трубку: «Да, я оговорилась. Но белые медведи склероза, о которых ты подумала, еще только на пути ко мне».

После того как Прохоровой исполнилось 90 лет, мне стало страшно набирать номер ее домашнего телефона.

Я боялся, что мне просто не ответят. Или трубку возьмет уже совсем другой человек.

И как же я был счастлив, когда Вера Ивановна поднимала трубку и своим ставшим для меня уже родным голосом привычно произносила скороговоркой: «Але-але-але».

На вопрос о том, как она себя чувствует, отвечала: «Все еще жива, как ни странно».

А узнав о том, что я звоню из Грузии, где сейчас уже жарко, интересовалась: «Я надеюсь, только в плане температуры?»

Когда я приезжал в Москву, мы снова встречались.

Привычно ставили чайник и так же традиционно о нем забывали.

Я приносил с собой диктофон и чистую тетрадь, в которой было записано только два слова — имя и фамилия очередного великого знакомого Прохоровой.

Каждый раз, слушая ее, я понимал, что Вера Ивановна — это мой клад.

И моя книга…

Глава 1
Випа

Линия жизни

Вера Прохорова

Родилась 26 июня 1918 года в Москве.

Отец — **Иван Прохоров,** последний владелец Прохоровской Трехгорной мануфактуры. Умер в 1927 году, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Мать — **Надежда Гучкова,** преподаватель английского языка. Умерла в 1946 году, похоронена на Ваганьковском кладбище.

Прабабушка со стороны отца — **Варвара Прохорова,** двоюродная сестра Константина Станиславского. Похоронена в семейном мавзолее на территории Новодевичьего монастыря.

Двоюродный дядя со стороны отца — **Александр Алехин,** четвертый чемпион мира по шахматам.

Прадед со стороны матери — **Петр Боткин,** купец первой гильдии, владелец крупной чайной фирмы.

Бабушка со стороны матери — **Вера Петровна Боткина.**

Двоюродная бабушка — **Надежда Петровна Боткина,** жена художника Ильи Остроухова, коллекционера и первого хранителя Третьяковской галереи.

Двоюродная прабабушка — **Мария Петровна Боткина,** жена поэта Афанасия Фета.

Двоюродный прадед — **Сергей Петрович Боткин,** врач, лейб-медик императоров Александра II и Александра III. (Его сыновья тоже стали врачами: **Евгений** лейб-медик Николая II, расстрелянный в 1918 году вместе с царской семьей в Екатеринбурге; **Александр** — военный моряк, врач, путешественник, женат на Марии, дочери коллекционера Павла Третьякова).

Дед со стороны матери — **Николай Гучков,** московский городской голова, депутат Государственной думы. Умер в эмиграции в Париже, похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Двоюродный дед со стороны матери — **Александр Гучков,** председатель Третьей Государственной думы, военный министр во Временном правительстве Александра Керенского. Его женой была Мария Зилоти, сестра композитора Сергея Рахманинова. Умер в эмиграции в Париже и похоронен в колумбарии на кладбище Пер-Лашез.

После смерти отца Вера вместе с матерью жила в доме в

Фурмановом (ныне Нащокинский) переулке, где их соседями были семьи Михаила Булгакова и Юрия Нагибина.

Закончила Московский институт иностранных языков.

17 декабря 1937 года состоялась первая встреча со Святославом Рихтером.

В 1951 году осуждена по 58-й статье за «измену Родине» и приговорена к 10 годам лишения свободы.

В 1956 году реабилитирована.

Преподаватель Московского института иностранных языков имени Мориса Тереза.

* * *

Так бывает, что в одном человеке сплетается столько имен и судеб. Хотя порою, когда я пытался пересказать друзьям истории, которые поведала мне Вера Ивановна, они с недоверием переспрашивали: «Как это возможно — и Боткины, и Гучковы, и Прохоровы, и Станиславский с Алехиным, и Фет, и Рихтер с Булгаковым, и все они были связаны?»

Я бы сам не поверил, если бы не везение и счастье повстречать Веру Ивановну. Она действительно знала всех — с кем-то дружила и виделась, а о ком-то слышала, что называется, из первых уст.

Но для меня в Прохоровой сплетены не только имена и судьбы. Для меня она эталон или даже единица измерения интеллигентности. Вот я бы прям так и определял глубокого и настоящего человека, скажем, в «пять Прохоровых». А если он пустой и никчемный, то — «ноль Прохоровых». Вы потом, надеюсь, поймете, почему я так говорю.

А еще для меня Вера Ивановна — лицо настоящей России. Не с картинки или плаката, а истинной, с фотографии — самой реальной и не отретушированной.

И не той, «которую мы потеряли», а той, которая сама себя сберегла — несмотря ни на что выстояла и самим своим существованием дает надежду.

И дело здесь не в великих предках Прохоровой или ее легендарных друзьях. Дело в самой Вере Ивановне и истории ее жизни.

С одной стороны, меня, конечно, удивило, что никто не догадался написать о ней книгу. Но с другой — обрадовало.

Потому что это смог сделать я…

Когда работа над рукописью была завершена, я стал думать, каким жанром ее можно определить? Ведьмы говорили и о самой Вере Ивановне, ее семье и близких, она рассказывала о своих друзьях

и знакомых. Но при этом во всех наших встречах основной темой и главным героем оставался Рихтер.

Один из учеников Генриха Нейгауза (тоже, кстати, приходившегося моей собеседнице родственником — Генрих Густавович был женат на тетке Прохоровой со стороны отца) Яков Зак ярко сказал после одного из выступлений Рихтера: «Есть на свете музыка первозданная, возвышенная и чистая, простая и ясная, как природа; пришли люди и стали ее разукрашивать, писать на ней всякие узоры, напяливать на нее разные маски и платья, всячески извращать ее смысл. И вот появился Святослав и как бы одним движением руки снял с нее все эти наросты, и музыка опять стала ясной, простой и чистой…»

О Рихтере написана не одна книга. Но почти всюду великий музыкант предстает этаким человеком-монументом, живой образ которого почти намертво заслоняют те самые «наросты», которые по определению Зака (записанному, кстати, и опубликованному Генрихом Нейгаузом в статье о Рихтере аж в 1946 году) «извращают смысл» самого Рихтера.

Монологи Веры Прохоровой «одним движением» ее памяти, уникальной для человека столь солидного года рождения, снимают все эти наросты.

И не только с Рихтера, но и с устоявшихся в нашем восприятии не менее монументальных образов его гениальных современников, которые тоже появятся на этих страницах…

* * *

Видите фотографию «лесенкой», на которой по росту от самого взрослого к самому малому изображена семья Прохоровых? — *спросила Вера Ивановна во время нашей первой встречи, усаживая меня рядом с книжной полкой, на которой были расставлены фотографии и иконы.* — Она сейчас висит во всех коридорах Трехгорки. Повесили, когда дедушка перестал считаться хищником.

Я потом преподавала у них язык. Когда на фабрике узнали, что я знаю английский, пригласили. Я поинтересовалась, какой уровень учеников. «Самый высокий, — ответили мне. — Есть даже директор института». А я имела в виду уровень языка…

Я вообще помню себя с двухлетнего возраста. К нам на дачу часто приезжали мои кузены. На них были розовые нарядные кофточки, в которых они скатывались по лестничным перилам. Потом, много лет спустя, они мне подтвердили, что действительно, в детстве у них были розовые кофточки.

Родилась я в Москве, в доме на Трех горах, где располагалась мануфактура Прохоровых. Меня несколько лет назад приглашали туда вместе с другими оставшимися в живых потомками Прохоровых. Показали часы напольные «Биг бен» из кабинета деда. «Как приятно», — ответила я.

Какая-то старушка рассказывала мне, что помнит дедушку — встретила его в магазине при фабрике…

Моего отца, Ивана Прохорова, ставшего после революции управляющим собственной фабрикой — Трехгорной мануфактурой, национализированной большевиками, едва не расстреляли. Из-за отсутствия в кассе денег он выдал рабочим зарплату мануфактурой и был арестован ВЧК.

Когда чекисты дали ему ознакомиться со смертным приговором, он просмотрел его и подписал: «Прочел с удовольствием».

У папы было изумительное чувство юмора. Потому что приговор был полон пассажами типа: «капиталистический хищник запустил лапы в народное добро» и тому подобными глупостями.

Фабричные рабочие, хотя среди них и коммунисты были, спасли отца. Они пришли в ЧК и сказали, что Прохоров никакой не хищник. Тогда у них еще были какие-то права.

Как раз НЭП начинался, и появилась надежда, что Россия вновь возродится. Открылось много текстильных заводиков. А поскольку отец был хорошим специалистом по хлопку, то ему дали должность консультанта… До 27-го года мы жили под Москвой в Царицыно, где рабочие подыскали для папы дом с мезонином.

Тогда станция так и называлась «Царицыно-дачная».

Вокруг весной вовсю цвели вишневые сады, которые для местных крестьян были источником заработка — в город продавались вишни. Там были милые коттеджи с двумя террасами — верхней и нижней, круг на улице, на котором была разбита клумба с пионами. С холма дорожка, по краям которой росла сирень, вела к пруду. Мы по этой сиреневой аллее спускались к воде, на берегу стояли скамеечки, рядом было место для танцев. Поэтому я никогда не представляла себе дачной местности без воды. Потом уже, после революции, «товарищи» воду спустили и стали на месте пруда сажать капусту.

Сейчас, говорят, все восстановили. Но я ни за что не хотела бы это увидеть. Какой там парк царицынский был! Сейчас он стал как офис модный, а тогда были таинственные руины. Было действительное ощущение русского замка.

У нас было хорошо. Каждый знал, чем заниматься. Бабушка

что-то на кухне делала, девочка приходила ей помогать. По воскресеньям приезжали рабочие с гаромошкой и спиртными напитками, начиналось веселье. Рабочие любили папу, «Ваня, Ваня» называли его. Он всех их детей крестил.

* * *

Моего прадеда, владельца и директора Трехгорной мануфактуры, в советских газетах называли «капиталистическим хищником». Хорошо, он не дожил до этого. Прабабка мечтала, чтобы ее вместе с мужем похоронили в склепе на территории Новодевичьего монастыря.

Но прадед отказался от склепа и выбрал для себя Ваганьковское кладбище. Хотел даже похороненным быть рядом с фабрикой. А прабабушка от своей мечты не отказалась и ее похоронили возле Новодевичьего собора.

Я как-то пришла в монастырь, когда там была очередная экскурсия, и услышала, как гид объяснял, что в склепе покоится «злобная капиталистка, а все Прохоровы бежали после революции за границу».

Я постояла, послушала…

Целью жизни прабабки было выдать своих детей за дворян. Дочь Зинаиду она отправила в Воронеж, где та вышла замуж за предводителя местного дворянства Алехина. Их сын, соответственно двоюродный брат моего отца, стал потом чемпионом мира по шахматам.

Связей у нас с этой ветвью семьи не установилось. Когда был жив Генрих Густавович Нейгауз, в Москву приезжал сын Алехина, но он даже не говорил по-русски уже. Так что это было лишь поверхностное знакомство.

Говорили, что брат Алехина был еще более одарен, чем знаменитый шахматист. Но тоже сильно пил. Как и папин брат-чемпион.

По традициям того времени купеческие семьи были многочисленны и держали связь друг с другом.

Кроме Алехина в родстве с нами состояли и купцы Алексеевы, один из сыновей которых увлекся театром и взял себе псевдоним Станиславский. Он, кстати, тоже был акционером Трехгорки, как и Алехин.

Бабушка, дочь той самой прабабки, тоже вышла замуж за дворянина Полуэктова, привнесшего единственную каплю благородной крови в нашу семью.

При этом сама бабушка богатство терпеть не могла, обожала

Достоевского и говорила: «Стыдно быть богатыми, когда вокруг столько бедных». А на упреки в том, что она одевает детей, словно каторжных ссыльных, отвечала: «Нет, не как каторжных, а обычно. Вот когда вырастут, пусть тогда как сами захотят, так и одеваются».

Так что тут прабабка со своими фантазиями о красивой жизни промахнулась. Но зато она дала детям хорошее образование, что помогло им держать дело.

У прабабки было довольно оригинальное развлечение — она собирала возле себя внуков и говорила, что тот, кто скажет ей плохое слово, получит подарок. «Тому, кто произнесет: „Бабушка — старый пес“ — достанется ослик», — искушала она. По семейной легенде, папа пытался было рвануться вперед и произнести заветные слова, но был удержан своей матерью. А вот Алехин, которого дома все звали Тошей, вышел и сказал: «Бабушка — старый пес». И получил ослика, на котором потом катался.

Моя бабушка со стороны мамы, Вера Петровна Боткина, к счастью, умерла до революции.

Воспитывалась она, бедненькая, матерью, находившейся под влиянием Льва Толстого. Та считала, что детей надо воспитывать в строгости и с раннего возраста приучать к труду. В результате бабушка этот труд возненавидела. В 6 утра она поднималась и шла помогать в сапожную мастерскую. Потом ее перевели в переплетную мастерскую.

Замужем она была за Николаем Ивановичем Гучковым, московским головой, родным братом Александра Ивановича, который был при царе председателем Государственной думы, а при Временном правительстве военным министром. Он же принимал и отставку императора.

* * *

У обоих братьев Гучковых очень интересная судьба. Александру Ивановичу, родному брату дедушки, предлагали стать министром промышленности и торговли сначала председатель Совета министров граф Витте, а затем сменивший его Петр Столыпин, с которым Гучков дружил. Но брат дедушки каждый раз отказывался, так как не хотел работать вместе с некоторыми членами Совета министров.

Император хорошо относился к обоим Гучковым. Когда Александра Ивановича избрали в Государственную думу, Николай II во время аудиенции сказал его родному брату

Николаю Ивановичу: «Я узнал, что брат ваш избран, мы очень рады».

Александр Иванович какое-то время был председателем Государственной думы. Но после того, как позволил себе критику в адрес Распутина, ему пришлось уйти в отставку. Его возненавидела императрица, ее самым страстным желанием было увидеть Гучкова повешенным на дереве во дворцовом парке. Николай II потом так и говорил о дедушке и его брате — «хороший Гучков» и «плохой Гучков»…

Александр Иванович мечтал о том, чтобы императором России вместо Николая II стал цесаревич Алексей, а его регентом — великий князь Михаил Александрович. После Февральской революции, когда в Пскове готовился акт об отречении Николая II, Александр Иванович пытался уговорить великого князя Михаила стать новым императором. Но вместе с депутатом Госдумы Петром Милюковым, который разделял ту же точку зрения, он оказался в меньшинстве. И монархия в России пала.

Только после долгих уговоров Керенского брат дедушки согласился стать военным и морским министром во Временном правительстве.

В отставку он подал после того, как поддержал генерала Корнилова, который готовил мятеж. Несколько дней Гучков даже провел в Петропавловской крепости.

Когда власть захватили большевики, он отправился на Юг к генералу Деникину, после поражения которого уехал в Париж.

Дело в том, что Гучков был награжден орденом Почетного легиона. И это помогло ему пусть и не на широкую ногу, но безбедно жить во Франции и получать пенсию.

Как мне рассказывали, в эмиграции к Гучкову относились довольно холодно, так как именно его считали виновным в отречении Николая П. Николай Иванович, мой дед, всегда восхищался политической деятельностью брата. Но сам был монархистом и после того, как дядя Саша (я так привыкла называть своего двоюродного дедушку) принял самое активное участие в организации отречения императора, восклицал: «Как можно принуждать к отречению?!»

В эмиграции многие выказывали дяде Саше протест. А он рассказывал, что царь Николай вел себя в высшей степени достойно и говорил: «Я сделаю все для блага России».

Умер Александр Иванович в 1936 году и похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Родной мой дедушка тоже сумел выехать в Париж. Так что оба Гучковых благополучно встретили старость в столице Франции.

Кстати, дочь Александра Ивановича стала ярой коммунисткой. Ее тоже звали Верой.

Судьба тетки — это сюжет для отдельного романа.

* * *

По иронии судьбы дочь председателя Третьей Государственной думы, военного министра Временного правительства и впоследствии одного из соратников командующего белой армией генерала Деникина искренне верила в идеи коммунизма, с которыми пытался всю жизнь бороться ее отец. Матерью Веры была давняя поклонница Александра Гучкова по имени Мария. Она, кстати, была приятельницей актрисы Веры Комиссаржевской, с которой, как говорили, у Гучкова был роман. Но тогда о таких вещах не полагалось шуметь.

А тетя Маша бегала за Гучковым. И он, уезжая на войну с бурами, сказал ей: «Гели вернусь живым — женюсь». Как гласит семейная легенда, не надеясь на самом деле на свое возвращение. Но вернулся и сдержал слово. Дядя Саша вообще был отчаянным человеком, дуэлянтом. Однажды его вызвал на дуэль некий Мясоедов, которого все называли немецким шпионом. Публично он изобличен в предательстве не был, и Гучков вслух назвал его шпионом и был вызван за это на дуэль. Мясоедов промахнулся, а дядя Саша выстрелил в воздух со словами: «Я не хочу спасать вас от виселицы». И вскоре Мясоедова действительно казнили.

…Веру с тетей Машей и Гучкова разделила Гражданская война. Девочка с матерью пробирались к Москве, откуда могли уехать в Париж.

В одной из деревень их арестовали красные. Как мне потом рассказывала сама Вера, тетя Маша почему-то все время смеялась и постоянно говорила только одно — чтобы их отпустили.

Судьбу их решали двое красных. Один предлагал отпустить: «Она же какая-то дурочка». Но другой отвечал: «Гучков бы на дурочке не женился» — и настаивал на том, чтобы Машу вместе с дочерью повесили.

Уже была выстроена виселица, когда село захватили белые. И тогда прежние мучители стали просить тетю Машу заступиться за них. Особенно просил самый лютый, который собирался ее повесить. «Я же так с вами обращался хорошо», — говорил он. А тетя Маша, опять-таки смеясь, отвечала: «Нет-нет, вы забыли, вы же хотели меня повесить. Но я за вас все равно замолвлю слово». Правда, в итоге этих большевиков все равно повесили. На той самой виселице, которая была сооружена для тети Маши и Веры.

Вера потом долго находилась под впечатлением от произошедшего и в своих детских рисунках в основном рисовала виселицы…

К счастью, семье дедушкиного брата удалось эмигрировать в Париж. Где, как я уже сказала, Вера стала коммунисткой и ратовала за идеи Маркса-Энгельса-Ленина с берегов Сены. Причем делала это весьма и весьма активно. Так, именно благодаря ее стараниям в Советский Союз стали возвращаться белоэмигранты. Которых тут, разумеется, арестовывали и отправляли в сталинские лагеря.

Когда Вера узнала о том, что арестован князь Мирский, вернувшийся в СССР из Франции, она стала требовать встречи с тогдашним наркомом НКВД Гжовым. И добилась своего — Вере была назначена встреча в кабинете сталинского любимца. Его должность тогда, кажется, называлась что-то вроде «Генеральный комиссар».

В Москву тетка приехала на восьмом месяце беременности. Она рассказывала, что Ежов то и дело с подозрением поглядывал на ее огромный живот. Боялся, наверное, что она прячет там бомбу. Хотя перед тем, как запустить в кабинет главного чекиста, Веру не один раз досмотрели и проверили.

Тетка отказалась от предложения присесть и весь разговор с Ежовым провела на ногах. А он, бывший очень маленького роста, ходил кругами вокруг ее выпирающего живота и удивлялся: «Как? Неужели князя Мирского арестовали? Ну я им покажу! Эта ошибка будет немедленно исправлена!» При том что, конечно же, все аресты проводились не просто с его ведома, но и по его указке.

В конце разговора Ежов наконец не выдержал и, кивнув на живот Веры, спросил:

— А вы, значит, скоро мамой станете? У вас в Париже есть кто?

Александр Иванович Гучков к тому времени уже умер. О чем Ежов наверняка прекрасно был осведомлен. Но делал вид, что ничего не знает.

— Да, у меня в Париже мать, — ответила тетка.

— Вот и прекрасно! Поезжайте к матери, она вас, наверное, уже заждалась.

— И не подумаю! Я хочу, чтобы мое дите родилось в Советском Союзе!

— А может, все-таки в Париж?

— Нет! Ребенок родится только в Советском Союзе, самой великой стране мира!

Ежов не стал спорить с теткой. Согласившись с ней, он

попрощался и обещал, что все недоразумения будут улажены.

Вера была в восторге от Ежова. Говорила даже, что у него «иконописные глаза». На дворе стоял 1937 год, мы с мамой слушали Веру, переглядывались между собой и лишь молча кивали.

Не успела Вера вернуться после разговора с Ежовым, закончившимся в лучших традициях того времени на рассвете, в нашу квартиру на улице Фурманова, как ей позвонили из НКВД и сообщили, что Вера обязана в течение 24 часов покинуть пределы СССР.

Сейчас-то я понимаю, что Ежов просто пожалел тетку и, приказав ей выехать из Советского Союза, сохранил ей жизнь. Наверное, ему показалось забавным, что дочь царского сановника так рьяно служит идеалам коммунизма.

Сама же Вера в тот момент была очень огорчена. Да и мы с мамой тоже расстроились. Одним словом, на Белорусский вокзал мы провожали тетку со слезами на глазах…

В Париже Вера поддерживала связи со многими русскими эмигрантами. Очень дружила с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой. Вместе с ним Вера была членом «Союза возвращения на родину».

Об Эфроне сегодня говорят и пишут много гадостей, что он, мол, был агентом НКВД и все такое прочее. Я точно знаю, что все это неправда. Эфрон, кстати, вернулся в Советский Союз в 1937 году. Через два года следом за ним и дочерью Алей в СССР приехала и Марина Цветаева. О том, что Сергею Эфрону до ареста и расстрела оставалось всего два года, она конечно же не могла и подумать…

Разумеется, тетка хорошо знала Цветаеву. Они переписывались и довольно часто встречались. Вера говорила, что Цветаева была ненормальной. Могла мило общаться с вами, а потом прийти и вдруг спросить: «За что вы меня так ненавидите?»

В Париже в Веру был влюблен Радзевич. В которого, в свою очередь, была влюблена Марина Ивановна Цветаева. Она вообще была страстным человеком и многое себе позволяла. Вера относилась к Радзевичу спокойно. Говорила, что он был красив, но не очень интересен, с ним быстро становилось скучно. А Марина как раз любила красавцев с непростым характером. Она и сама такой была…

Своего мужа-англичанина Вера тоже сумела увлечь коммунистической идеологией и заставила поехать в Испанию, где началась гражданская война. На которой супруг тетки и погиб.

Зато полученное благодаря ему английское гражданство

спасло Вере жизнь во время Второй мировой войны. Когда в Париж вошли фашистские войска, тетка, попавшая в концлагерь, сумела из него выбраться и выехать в Лондон.

Правда, после войны она разочаровалась в коммунистических идеях и вышла из партии. Она даже скупила нераспроданный тираж написанной вскоре после Второй мировой своей книги об СССР и Сталине и уничтожила его. А своему другу Морису Торезу сказала о былых увлечениях коммунизмом: «Это скучно!» Но интереса к политике не потеряла. Она была очень активным защитником молодого государства Израиль.

В Лондоне тетка жила на втором этаже небольшого особняка. Как-то в ее доме начался пожар. Причем такой сильный, что у приехавших пожарных не было ни малейшей надежды, что кто-нибудь из жильцов останется в живых. На всякий случай они спросили у соседей, есть ли кто-нибудь на втором этаже. «Да, — ответили они. — Там живет пожилая женщина».

Поскольку все случилось поздней ночью, пожарные махнули рукой: «Она, наверное, уже погибла во сне — если не от огня, то от угарного газа». Однако соседи возразили: «Она не может погибнуть, она — русская». Тогда пожарные забросили на второй этаж, лестница, ведущая на который, уже рухнула, какой-то железный крюк. И что вы думаете? Этим крюком они каким-то образом зацепили Веру и вытащили из объятого пламенем дома. И она осталась в живых…

В шестидесятых годах Вера снова приезжала в Москву. Она тогда работала в каком-то западном издательстве, для которого делала интервью с Борисом Пастернаком. Вместе с ней к поэту на завтрак, имевший место у Ольги Ивинской, ходила и баронесса Будберг, знаменитая возлюбленная Максима Горького.

Дружба двух женщин потом дала повод для разговоров о том, что они обе были приставлены друг к другу. А Нина Берберова даже написала, что «еще неизвестно, кто за кем следил — Трейл за Будберг или Будберг за Трейл, или обе они следили за Пастернаком, который кормил их икрой»…

Я общалась с Верой во время ее последнего приезда в СССР. Тогда как раз был конфликт с Израилем. И я помню, как Вера шла со мной от метро, прихрамывала (после того пожара в Лондоне, когда ее багром достали из дома, у нее была повреждена нога) и без остановки говорила, говорила об Израиле. Она тогда тоже остановилась у нас на улице Фурманова.

Вера очень грассировала: «Вега, Изгаиль кгошечное государство и не может быть аггесогом. Я тебе сейчас все нагисую». И принималась чертить палкой на земле карту мира, благодаря которой я должна была понять, какие Израиль и

Советский Союз.

Я предложила ей продолжить лекцию дома, а то на нас уже начинали смотреть прохожие. Но она продолжала чертить палкой на земле. Толпа уже собралась — дама явно нерусского вида читает лекцию об Израиле. Слава богу, ничего не случилось. Хотя Вера произносила и такие фразы: «Конечно, тебе в это тгудно повегить. Ведь у вас всюду цагит ложь и вы не знаете пгавды».

Я еле уговорила ее пойти домой. А там мы с мамой ей сказали, что мы за мир и не хотим войны. «Вы-то за миг, а вот ваше пгавительство может захотеть войны!»

Вера одно время дружила со Светланой Аллилуевой. Но потом они поссорились из-за Сталина. Его ведь дочь была большая сталинистка. «Света с большими стганностями», — говорила Вера о ней. Но очень любила дочь Светы Ольгу.

Во время своего последнего приезда в Москву Вера рассказывала, как ее пытались уговорить сотрудничать с британской разведкой МИ-6. «Но я категогически отказалась, — говорила она. — Да, я ненавижу коммунистов, но это моя стгана, и я никогда не буду пготив нее габотать».

Она очень приглашала меня с сестрой Любой к себе в Лондон, начала какие-то бумаги оформлять. Но тогда выехать за рубеж было так сложно, что ничего у нас не получилось…

Умерла Вера в Кембридже в 1987 году в уже преклонном возрасте. Ей был 81 год.

Так получилось, что она рассорилась со своей единственной дочерью и хоронили ее внук и Светлана Аллилуева. Потом мы с сестрой были на ее могиле на одном из лондонских кладбищ…

* * *

Бабушкина сестра Надежда Петровна Боткина была замужем за художником и коллекционером Ильей Остроуховым. Жили они в его московском особняке в Трубниковой переулке. На первом этаже находились жилые комнаты, а на втором — коллекция Остроухова, украшением которой была картина Тициана.

Мы с мамой часто навещали дядю Илю, как я называла Остроухова, и его жену, которую я про себя окрестила «тетя Надя-старушка».

Это было в конце двадцатых годов. Мне тогда лет десять было. Я навсегда запомнила мощную фигуру Остроухова, который совсем не выглядел старым. У него было довольно своеобразное чувство юмора. Когда к нему в гости приходила одна родственница, которую он не очень жаловал, дядя Иля говорил:

«Марья Петровна, под стол!» А моего маленького двоюродного брата встречал со словами: «Какие у тебя щечки розовые! Только зажарить и съесть!»

Дядя Иля был человеком широкого образования и смелого вкуса. Он и Щукин стали первыми, кто начал покупать картины французского художника Анри Матисса. Павел Третьяков, умирая, назначил дядю Илю вместо себя хранителем галереи.

Остроухов был очень добрым человеком. Когда мы приходили, он говорил жене: «Надежда Петровна, дети у порога. Где пирог?» И она отвечала: «Иля, пирог готов».

Я его очень любила. Он первым открыл мне разницу между материальным и духовным миром. Иконы в его доме были настолько выразительны, что мне не хотелось от них отходить. Они, казалось, физически излучали тепло и добро.

Я спрашивала у дяди Или:

— Почему возле икон становится так хорошо?

И он отвечал:

— У человека есть тело и есть душа. В картине ты видишь краски, а в иконах чувствуешь душу. Те, кто писал иконы, готовились к этому, постились. На иконах нет ярких красок, они темные. Но яркости и не надо. Иконописцы были настоящие и глубоко верующие люди, и это чувствуется. Ты же не будешь думать, как одета Богоматерь. Это другой мир, нежели тот, в котором мы живем. Вот иконы работы Андрея Рублева. Он ведь жил в очень непростое время, а его иконы оставляют только светлое впечатление. Потому что главное — какая душа у художника. Если в ней есть свет, значит, есть благодать. Тогда и на зрителя перейдет этот свет.

Находил, конечно, и более точные слова. Меня иконы потом всегда притягивали.

Я так полюбила бродить среди картин, что попросила у дяди Или разрешение самой приходить и смотреть его коллекцию. Он позволил.

Не забуду, какое сложное впечатление произвели на меня работы Врубеля. Остроухов и тут пришел мне на помощь и все объяснил: «Художник был нездоров и его душевная болезнь ощущается и на холсте».

Судьба дяди Илиной коллекции была трагична. После неожиданной смерти Остроухова ценности из его дома были попросту расхищены. Что-то передали в Третьяковскую галерею, а что-то навсегда исчезло. Как, например, картина Тициана.

У Остроухова была дома богатейшая библиотека из 12 тысячи томов, которую после его смерти тоже расхитили. Это было страшное зрелище. Даже мы, дети, понимали, что происходит

что-то ужасное и стихийное. Нам позволили взять несколько книг. У нас они потом хранились с экслибрисом «Из библиотеки Ильи Остроухова». В книгах большевики были мало заинтересованы. Их больше интересовали картины, которые они спешно вывозили. Иконы тащили.

Бедная тетя Надя! Ее выселили из собственного дома во флигель во дворе. Просто взяли и вышвырнули. Я помню, как переносили ее мебель из дома в этот флигилек.

Мама все время ходила к ней. Тетя Надя все кротко терпела. Через год она умерла.

Нам позволили забрать с собой несколько книг из библиотеки дяди Или. Помню, у нас была книга Гете на немецком языке. Каждый раз, открывая ее, я вспоминала те волшебные дни, которые я проводила в его доме в Трубниковом переулке. «Наелась? — спрашивал меня за столом Остроухов. — Тогда вставай и беги смотреть картины…»

* * *

Неожиданно Вера Ивановна повысила голос и довольно резко обратилась к фотографу, которого я привел с собой, попросив сделать несколько снимков моей собеседницы и переснять старинные фотографии, хранящиеся в ее архиве.

— Этот портрет не снимать! Я не хочу, чтобы о нем все узнали! — решительно сказала Прохорова.

Речь шла о работе художника Валентина Серова, висящей в изголовье кровати Веры Ивановны.

Честно признаюсь, я и не думал, что Вера Ивановна может быть такой строгой!

* * *

Одним из близких друзей дяди Или был художник Валентин Серов, написавший мамин портрет.

Вообще, бабушка Вера Петровна заказала ему написать портрет каждой из ее дочерей, так что у нас было четыре работы Серова.

Она рассказывала, что одной из работ сам художник остался недоволен. И как бабушка ни умоляла его оставить портрет дочери таким, каким он вышел, Серов не соглашался. Он сложил холст на четыре части и разорвал его. Потом конечно же написал новый.

Серов ведь был художником с весьма непростым характером. Известно, что, когда он в Зимнем дворце писал портрет Николая II, в зал неожиданно зашла императрица и принялась критиковать его работу. Тогда он вручил ей палитру и кисти и предложил самой закончить портрет. Александра Федоровна пришла в бешенство, а император рассмеялся.

Родичи укоряют меня, что я держу портрет кисти Серова у себя дома просто так, без всяких предохранительных мер.

Кстати, этот портрет был на выставке Рихтера. Светик очень любил мою маму…

* * *

Вот наконец впервые и прозвучало имя Рихтера. Его Вера Ивановна вспоминала потом постоянно. Даже просто, как в эту минуту, рассказывая о своем детстве.

* * *

Мама воспитывала нас братом в умении во всем замечать прекрасное и ни в коем случае не пропускать его.

— Мам, — говорили мы, — ну что хорошего в цветочке, на который ты показываешь? Он же такой маленький.

— А какой он зато красивый! — отвечала она.

Или, если на улице было холодно и стоял мороз, мама показывала нам узоры на окнах и восхищалась, как они затейливо прекрасны.

Зимой нам с братом вымазывали лицо гусиным жиром, и мы в валенках и шубках отправлялись кататься на горку. Брали решето старое, дно его обмазывали навозом, заливали водой и получалась мазанка. На ней и шли кататься.

Царицыно же — такие холмы! Я с тех пор терпеть не могу плоские равнины.

Весной, когда бежали ручьи из талого снега, запускали кораблики.

Как тогда цвели вишни! Я навсегда запомнила голубое небо и цветущие деревья на его фоне! Летом ходили с няней по грибы, опята маленькие собирали.

С нами еще и папина кормилица жила. И папина мама. Так что я никогда не чувствовала ни мрака времени, в котором жила моя семья, ни напряжения. Хотя к родителям приезжали друзья, возвратившиеся из ссылки. И конечно же ни у кого из взрослых не

было иллюзий по поводу той эпохи, в которую им выпало жить…

* * *

О прошлой жизни у нас дома, конечно же, вспоминали. От бабушки и папиной кормилицы я часто слышала о «мирном времени» — о периоде до Первой мировой. «В мирное время продавалось то-то…» — вспоминали они. А вот о революции не говорили. Просто это не было частью нашей жизни. Как-то не воспринималось, что наш род разорен. Дедушка же в Париж уехал. Я после лагеря, когда стало можно ездить за границу, была в Париже, проходила мимо его дома на рю Гюстав Доре рядом с парком Монсо. В этом доме уже жили другие люди.

Мама моя, может, тоже хотела уехать за границу. Она предвидела возможное будущее. Но папа не представлял себя за границей, он не видел жизни без фабрики. Папа хорошо во всем этом разбирался — его отец брал его на фабрику с 10 лет, водил в цеха, папа обожал это. Так дед готовил наследника.

Мне папа потом тоже рассказывал о том, какое чудо — фабрика Трех гор. Но при этом разговора о том, что все это царство раньше принадлежало нашей семье, никогда не было.

* * *

Когда в 1927 году папы не стало, рабочие Трехгорки несли его гроб из Солдатенковской, ныне Боткинской, больницы до Ваганьковского кладбища на своих руках.

А потом еще три года материально помогали нашей семье. В 1930 году мама попросила их больше не приходить — связь с нами стала уже небезопасна.

Кстати, в 1937 году, когда в стране начались повальные репрессии, за папой вновь пришли мастера кровавых дел НКВД, решив, очевидно, довести до конца начинание своей предшественницы ВЧК. Узнав, что Ивана Николаевича нет дома, они переполошились — где же он может быть, не сбежал ли?

— На Ваганьковском кладбище, — ответила мама.

* * *

По инерции после ареста отца схватили и маму. Но ее довольно быстро выпустили, а мне домашние сказали, что мама

уезжала навещать тетю.

А потом мы из Царицыно перебрались на улицу Фурманова, нынешний Нащокинский, в дом дедушки.

Дедушка Гучков, хоть и являлся московским головой, богатым не был. При этом никогда не брал жалование, а складывал его в ящичек, из которого в специальный день раздавал деньги нуждающимся.

Сам дедушка жил с бабушкой на Маросейке, в доме, который бабушка получила в приданое.

У самого дедушки был дом в Поповке, это рядом с Архангельским, имением Юсуповых. При встречах они раскланивались друг другу. А еще он владел имением Артек в Крыму, куда иногда ездил с бабушкой. После революции все отняли. Из дома на Маросейке позволили выйти буквально в чем были…

Так вот, дедушке принадлежал доходный дом. Он очень извинялся перед своей дочерью Любой, сестрой мамы — когда она вышла замуж, дедушка не смог ей предоставить квартиру в этом доме, так как все они были заняты жильцами. В результате семью тети поселили на нижнем этаже. «Как только кто-нибудь съедет, я тут же тебя переведу в лучшую квартиру», — пообещал дедушка Гучков. Но не успел.

Мы из Царицыно тоже переехали в этот дом и поселились в «бельэтаже». До 1933 года наша улица называлась Нащокинским переулком, а потом ей дали имя писателя Фурманова.

Мы жили в бывшей столовой, отделенной от коридора только толстым тяжелым занавесом. Потому все передвижения соседей по коридору были весьма ощутимы. А соседи у нас были разные.

В конце коридора жил сотрудник газеты «Долой алкоголь», лютый пьяница и отличный знаток алкоголя по фамилии Гаврилов-Терский. Нас он замечал только тогда, когда мы своими проделками вмешивались в его жизнь. Братья однажды залепили ему все окно снегом. Очнувшись от запоя, Терский подумал, что он погребен под снегом и страшно испугался.

На вид он был страшноват, так как, несмотря на молодой возраст (ему было лет 35), его лицо было настолько изменено и искажено алкоголем, что трудно было себе представить, что Терский умеет писать, читать или вообще исполнять человеческие функции.

На лоб его свисали рыжеватые космы, закрывавшие тусклые глаза. Воду Терский не признавал, и это тоже бросалось в глаза. Одет он был зимой и летом в одно драповое клетчатое пальто, а на ногах была разная обувь: на одной ноге — сандалий, а на другой — ботинок с пряжкой.

Его вклад в антиалкогольную газету оставался для нас загадкой, но деньги на водку он находил всегда. Возвращаясь домой, Терский часто не мог открыть дверь ключом и засыпал у порога, блокируя вход и выход. Иногда он сутками не выходил из своей берлоги, из которой доносились странные звуки — не то хрип, не то храп. Проснувшись, он со страшным ревом вырывался в коридор с криком: «Пора на охоту!»

Это был долгожданный момент в жизни братьев, двоих Николаев — моего родного и двоюродного, сына тети Любы. Они пытались бросить ему под ноги какой-нибудь предмет или мяч, который Терский принимал за желанного зверя и старался поймать, но всегда тщетно.

Случилось так, что Терский спьяну уступил свою комнату разбитной девице с ребенком. Та поселилась в его берлоге и занялась самоутверждением в нашей квартире.

Красотой она не отличалась. У нее были короткие волосы, завитые, как у барашка, и сильно накрашенные щеки. Она обычно натирала лицо свеклой. «Для красы», — объясняла она. Зубов у нее тоже было маловато. На это было свое объяснение: «Мужики драться любят».

Но очевидная бойкость привлекала к ней поклонников, в том числе молодого милиционера. Грудной ребенок часто кричал, и вместо обычной колыбельной Шурка, так звали новую соседку, напевала: «Смерть тебя позабыла, окаянный».

Возможно, что смерть скоро вспомнила о несчастном ребенке, но мы этого не узнали, так как Шурка исчезла из нашей жизни. Но память о ней осталась: она открыла нам новые области русского языка — мат.

Вскоре у нас появилась новая соседка, тоже Шура, — женщина средних лет, крепкая и очень ловкая в работе. Лицом Шура не вышла, тем более что один глаз у нее «был неправый», как она сама говорила, то есть косой, и все время вращался. Волос на ее голове было маловато, но, несмотря на то что она была почти лысая, женщина ухитрялась делать крошечный пучок на затылке.

Шура была чрезвычайно чистоплотная и отличная хозяйка. Свою комнату она называла голубым раем: в ней были голубые обои с красными розочками, голубые занавески и на столе расстелена голубая клеенка. К стенам были прикноплены открытки, в основном изображавшие кошек с бантами или сцены счастливой семейной жизни.

Когда мы только переехали к тете Любе, у нее была большая семья. Муж тети Любы Юрий Николаевич Висковский работал в разных ведомствах, министерствах и несколько раз

арестовывался, как бывший военный. В 37-м году он был снова арестован и приговорен к десяти годам без права переписки, что означало, как мы потом узнали, расстрел.

Потом арестовали и саму тетю Любу, и ее сына. За моим двоюродным братом пришли 31 декабря. В гостях у нас в это время находилась жена австрийского посла, русская женщина, которая дружила с мамой. Она часто заходила к нам, так как здание посольства Австрии находилось, да и сегодня находится, неподалеку от нашего дома. В честь праздника жена посла принесла нам печенье.

Как только чекисты вошли в нашу квартиру, они тут же перекрыли выход. Но на счастье у нас был черный ход из кухни. Только я успела вывести женщину из дома, как на кухню ворвался молодой офицер. «Это что такое? Еще один выход?» — возмущенно закричал он, указывая на дверь. Я невозмутимо ответила, что да, так как дом наш — старой постройки и раньше на кухнях всегда был еще один вход.

Он тут же заблокировал и эту дверь. Но жена посла уже была на улице, и опасность миновала. Иначе нас бы всех арестовали — ведь Австрия в те годы считалась союзницей фашисткой Германии.

О подписании пакта Молотова-Риббентропа мы с мамой узнали при довольно забавных обстоятельствах. Последнее предвоенное лето мы проводили с ней за городом и никаких газет там не читали. Потому, приехав в Москву и увидев на всех улицах флаги со свастикой, а в газетах — речь Гитлера в Рейхстаге, мы решили, что столицу захватили фашисты. Потом уже нам объяснили, что теперь Германия и Советский Союз — лучшие друзья.

Когда в семидесятых годах мой добрый приятель Толя Якобсон встретил на бульварах Вячеслава Молотова, к тому времени — уже почтенного пенсионера, то не выдержал и обратился к нему с вопросом: «Ну и как поживает твой друг Риббентроп?» На что Молотов ответил, что не расположен ни о чем разговаривать и спешно пошел дальше…. В тридцатых-сороковых нашим соседом был сын Сталина Василий. Его особняк располагался аккурат за нашим домом. Я самого Василия не видела, Бог миловал. Да и желания не было. Но отзвуки его вечеринок мы слышали регулярно. Почти каждую ночь из его дома доносился шум, вой, дикие крики. Спать было невозможно. Особенно летом часто устраивались оргии. Он разгульным был человеком. У нас так и говорили: «Опять у Васьки шум…»

После лагеря я вернулась в свой дом на улицу Фурманова переулке.

Рядом жили жириновцы — пили, орали, вывешивали на праздники на окна свои флаги.

Как-то просыпаюсь и вижу, что на моем подоконнике стоит человек. «Не бойтесь», — говорит. Я ответила, что и не собираюсь бояться, только не могу понять, что он делает возле моего окна. «Праздник сегодня, — отвечает, — мы флаги вешаем. А вам потом споем что-нибудь».

Нам, жильцам коммуналки, они страшно завидовали и поставили себе цель завладеть нашей квартирой. А поскольку просто выселить из нее не смогли, то купили нам с соседкой по отдельной квартире.

Так я и оказалась на Сивцевом Вражке.

* * *

После папиной смерти, как вдову лишенца, маму не брали ни на какую работу. Да и нашу семью не оставляли.

Приходил какой-то якобы знакомый отца, который заводил с мамой провокационные разговоры. «Уж хоть бы погибла эта проклятая советская власть!» — говорил он. Но мама поняла, что это провокация и подобные беседы не поддерживала.

В 30-м году был организован «Интурист», и маму взяли гидом. Тогда ведь мало было людей в Москве, кто свободно владел языками.

Мама в совершенстве знала английский, французский и немецкий. Ее мать, изведавшая радости сапожной и переплетной мастерской, дала ей образование, понимая, что главное именно это. С мамой жили гувернантки-иностранки, которые и учили ее.

А потом мама работала в институте заочного обучения.

Заведовала этим заведением сестра Менжинского, который после смерти Дзержинского стал главным чекистом. Говорили, что по сравнению с Железным Феликсом Менжинский был довольно мягким человеком. А сестра его была дамой «старинного покроя».

Мама проработала в институте до самой смерти в 1945 году.

Ее родная сестра Люба, та самая, которая жила на улице Фурманова, уехала в Париж, но потом все равно вернулась в СССР и была арестована.

В нашем доме осталось только две квартиры, в которых никто не был арестован.

С дедушкой в Париж уехали его дети — тетя Соня, тетя Вера, дядя Петя и дядя Коля. А мама с Любой жили тут.

Почему не уехали? Во-первых, не было особых капиталов,

чтобы ехать. А потом, они не верили, что советская власть установилась надолго.

После смерти папы мама хотела уехать, но ее уже не выпустили. Все границы захлопнулись.

Она все понимала, но ничего уже не могла сделать…

* * *

А я была пионером. Мало того, грех великий, была этим увлечена. Вот что значит великая сила пропаганды! Песенки пела своеобразные: «Мы повесим Чемберлена на осиновый сучок, мы повесим Чемберлена бритой рожей на восток». Воспитательные такие песенки.

Мама всегда спокойно к этому относилась. Какие-то вещи опровергала, но чаще говорила: «Ты сама смотри, как и что. Вырастешь и все поймешь».

Например, когда мы в школе изучали «Старосветских помещиков» Гоголя, которых было принято считать гадами, мама говорила, что все совсем не так.

Дедушка для меня был, конечно, хорошим и положительным человеком, а вот другие капиталисты — мучителями. И я радовалась, что благодаря революции народ наконец освободился от них.

Подруга моя Сарочка Шапиро потом каялась, что это она меня увлекла всей этой коммунистической идеологией. Я, правда, всему очень верила, выписывала газету «Пионерская правда» и с удовольствием и интересом ее читала.

В школе нас фактически ничему не учили. Тогда в ходу был бригадный метод: кто из учащихся в чем лучше разбирался, тот по тому предмету за весь класс и отвечал. А остальные в итоге так и оставались неучами. Большая власть была у учкома, который состоял из учеников и не только критиковал учителей, но и частенько отстранял их от работы за идеологические ошибки. Сделал, допустим, кто-то из учителей замечание, его тут же выгоняли. Диктант, например, считался буржуазным пережитком. Только классе в восьмом-девятом за нас взялись и стали чему-то учить. Но, конечно же, уже было поздно.

Я училась в одной школе с Анатолием Рыбаковым, автором знаменитого романа «Дети Арбата». Мы ходили в седьмую школу в Кривоарбатском переулке, потом ее в Плотников переулок перевели. Толя постарше меня, но учителя у нас с ним были одни и те же.

В своей повести «Кортик» он описывает некоторых из них.

Например, учителя черчения. Этот педагог довольно своеобразно разговаривал, постоянно вставляя в слова букву «в». Говорил нам с подругой: «Вты, Прохорова, и вты, Криворучко, на отдельную парту». И давал нам чертить спичечную коробку на трех плоскостях, когда весь класс уже детали какие-то сложные чертил.

А надо заметить, что я в точных науках патологически тупа. У меня с детства косенькие лапки не только в хозяйстве, но и в черчении.

Мы с подругой чертили, а потом он вызвал нас к доске. Укоризненно качал головой и говорил: «Невуд».

К счастью, мама к моим «невудам» спокойно относилась.

* * *

Прозрение, что в стране творится неладное, нашло на меня в 37-м, когда стали хватать всех подряд.

Сталину я не верила и не любила его.

Но с началом Великой Отечественной во мне, как и во всех, проснулся патриотизм.

Что бы сейчас ни говорили, но у нашего молодого поколения, несмотря на то, что родители многих были репрессированы, был патриотизм. Все хотели на фронт. Мой знакомый, у которого расстреляли отца, в первый же день войны пошел на фронт и погиб в первом же бою.

День 16 октября 1941 года был в Москве днем страшной паники. Звучали разговоры об «арбатском направлении» фашистов — немцы были уже в Филях.

Мы тут чего только не видели — все кипело вокруг, все бежали. Направление было одно — на Восток!

До сих пор перед глазами картинка — идет женщина, за собой волочет плачущего ребенка, буханка хлеба в авоське.

Помойки все красные были от обложек выброшенных книг по истории партии и портретов вождей. В их адрес проклятия звучали: «Они нас бросили!»

На улицах появились разбойные морды, которые начали грабить магазины. Подожгли фабрики «Красный Октябрь», «Ява».

Наш директор института — а я уже училась в институте иностранных языков — украл последний сахар из буфета, сел в машину и с секретарем парткома бежал из столицы.

Мне кажется, немцы не вошли в город только потому, что не могли поверить, что Москву никто не защищает. Потом уже стали говорить, будто фашистов здесь чуть ли не с пирогами ждали.

Мол, родственники репрессированных в сталинских лагерях достали самую нарядную одежду и хлеб-соль готовили. Не знаю, так ли это было. Но если бы немцы не потеряли ночь, они бы заняли город.

Ребятам в райкоме прямо говорили: рвите комсомольские билеты, бегите из города. А мои однокурсники, наоборот, просто бросались на фронт!

Когда стало известно, что состав с нашими ребятами на ночь задержали на Белорусском вокзале, мы помчались туда, бежали вдоль вагонов и выкрикивали их имена. Мальчики отвечали нам: «Ничего не бойтесь, мы вас защитим!» Домой из них не вернулся никто…

Война стала для всех какой-то очищающей. Пастернак хорошо об этом в «Докторе Живаго» сказал: «Война была очистительной жертвой». Немцы же напали вероломно, жестоко вели себя. Все только об этом и думали.

Люди почувствовали черноту и ужас фашизма.

17 октября Москва замерла в зловещей тишине, страшно было из дома выйти. А на следующий день на стенах появились листовки: «Москва объявляется на осадном положении, вводится военно-полевой суд, всякому, кто будет замечен в мародерстве, — расстрел!» И был наведен порядок. Патрули появились.

Только одна фамилия стояла под той листовкой, которую тогда никто не знал. Это была подпись Жукова. Мы знали Ворошилова, Буденного с его конем, а о Жукове слышали впервые…

Не забуду я и 9 мая 1945-го. Какое в день Победы было ликование! Но мудро сказал Рокосовский: «Пережили войну, теперь надо пережить победу!» Увы, мы тогда этого не сознавали.

Город был полон союзниками. Американское посольство находилось рядом с гостиницей «Националь», оттуда приносились напитки, закуска. Все ликовали, обнимались, целовались.

Иосиф Виссарионович правильно рассудил: надо показать, что началась дружба народов.

Девушки выходили замуж за иностранцев, некоторые даже гражданство принимали. Всех, конечно, потом арестовали…

Меня арестовали в августе 1951-го. Явился молодой человек в штатском и сказал, что мне предлагают работу в Совете министров (я тогда уже была преподавателем английского). На троллейбусе мы отправились в Совет министров, однако приехали почему-то на Лубянку. По наивности я предупредила, что у меня нет пропуска. Но молодой человек успокоил: «Я вас проведу». Мы вошли.

В одном из кабинетов со мной действительно побеседовали о том, как лучше всего изучать английский язык. А потом предложили пройти «с дядей Васей», который и проводил меня в камеру.

* * *

Я иногда задаю себе вопрос: почему аресты они оформляли в подобную форму? Меня вот вызвали преподавать язык, кого-то приглашали в сберкассу за денежным переводом, кого-то за премией. То есть люди шли в тюрьму, не зная, разумеется, конечной цели, с приподнятым настроением.

Я до последнего момента не догадывалась, что арестована. А когда мне показали наконец ордер на арест, я решила для себя, что все, занавес опустился и жизнь закончилась. Понимала, что 10 лет мне дадут как минимум. И главным для меня было не назвать ни одного имени, чтобы от меня цепочка арестов не потянулась дальше.

Я-то им была неинтересна, им были нужны Нейгауз, Рихтер, Фальк.

* * *

Прохорова действительно была осуждена на 10 лет по печально знаменитой «политической» 58-й статье. За то, что в одном из разговоров сказала, что ей «жалко людей».

* * *

Я, к сожалению, точно знаю, по чьим доносам была арестована. Их писал композитор Александр Локшин. Самое удивительное, что Светик предсказал мне это.

Поскольку меня арестовали в 1951-м, а не в 1937 году, то следствие велось с видимостью соблюдения всевозможных процедур. Например, было необходимо устроить очную ставку арестованного с тремя свидетелями, которые подтверждали содержащиеся в доносах обвинения.

При этом сам человек, который писал донос, быть свидетелем не мог. Благодаря этому я и «вычислила» Локшина. Потому что в доносах содержалась информация, которую я говорила ему наедине.

Так, например, после одного из застолий, когда все уже вышли на улицу, Локшин неожиданно попросил меня задержаться. Подвел к портрету ближайшего сталинского соратника Георгия Маленкова, висящему в его кабинете, и сказал: «Это — самый большой негодяй-антисемит».

Я ответила, что среди наших правителей все — негодяи, достаточно просто взглянуть на их лица, и никакой разницы между ними нет.

Этот разговор состоялся между нами наедине. Поэтому, когда следователь процитировал мне дословно этот диалог, я поняла, от кого исходит информация. Правда, до последнего надеялась, что на меня донес друг Локшина Миша Мерович, которому тот мог просто из неосторожности передать наши разговоры. Мерович был на меня озлоблен после того, как я выставила его из своего дома. Он пришел ко мне с каким-то пошлым анекдотом, и я попросила его больше у меня не появляться. Я таких анекдотов терпеть не могла. В итоге я попросила устроить мне очную ставку с тем, кому я говорила эти слова. Надеясь увидеть Локшина, потому что в таком случае подозрения в том, что именно он — секретный сотрудник КГБ, отметались.

«Своих» кагэбэшники не «светили». Потому что иначе эти люди уже не могли больше работать на органы.

Но первой на очную ставку пришла родная сестра Локшина.

— Итак, о чем с вами разговаривала Прохорова? — спросил у нее следователь.

— О члене правительства, она обсуждала его.

— Как обсуждала? Называла красивым?

— Нет, сказала, что он негодяй. И еще позволила себе высказаться об одной национальности.

— О какой национальности? — продолжал «наседать» на девушку чекист, при этом, как мне показалось, хитро поглядывая в мою сторону. — О неграх? Вы смотрите, а то мы вас за дачу ложных показаний привлечем!

— Нет, она говорила о евреях, — еле слышно произнесла девушка, окончательно сбитая с толку строгим тоном следователя — уж не собирается ли он в самом деле и ее арестовать.

— А почему это вас так задело? Вы что, еврейка?

— Нет, я русская.

— А вы? — тут следователь обратился ко мне. — Не еврейка, случаем?

— Нет, я русская, и все предки мои тоже русские — Прохоровы, Гучковы, Боткины.

— Чего же вы тогда про евреев говорите?

— Я не говорю и никогда не говорила. И уж тем более с этой

девушкой. Устройте мне очную ставку с человеком, который вам все это написал.

Я до последнего дня надеялась, что предатель не Шурик. Но когда в один из дней увидела в кабинете следователя Меровича, то поняла уже окончательно, что сексот (секретный сотрудник) — это именно Локшин.

Получается, КГБ прятало Локшина. А поскольку требовалось именно три свидетеля, то кроме матери и сестры композитора пришлось добавить еще и Меровича.

Он бледный сидел, что-то мямлил, но я с ним и не стала разговаривать, так как все уже поняла.

А следователи над ним издевались. Мне потом сам следователь сказал, что они свидетеля разыграли, будто собираются и его посадить. И он так в это поверил, что когда ему давали пропуск на выход с Лубянки, он не брал его, так как думал, что это ордер на арест.

Миша заявил, что разговор о Маленкове у меня состоялся именно с ним. Но я-то знала, что говорила об этом с Локшиным, и в комнате нас в тот момент было всего двое.

Локшин еще и на Есенина-Вольпина донес, сына поэта Сергея Есенина. Но тот никогда не следил за тем, что говорил. Мог прямо посреди улицы спеть какую-нибудь антисоветскую частушку. Или, выйдя из столовой на улицу и почувствовав тошноту и нагнувшись в сторону куста, сказать: «Ну, теперь-то все советское дерьмо из меня вышло».

Кстати, после того, как нас освободили из лагеря, Вольпин несколько раз предлагал мне пойти «разоблачить Локшина». Я отказалась. А он пошел. На один из вечеров в Союз композиторов, кажется. И когда там закончили обсуждение нового произведения Локшина и спросили у зала, есть ли у кого-нибудь дополнения, Вольпин поднялся и сказал: «У меня есть дополнение. Композитор Локшин меня посадил в лагерь».

Почему Локшин доносил? Это сложный вопрос. Думаю, что его просто запугали. Дело в том, что у него было вырезано из желудка и, как и все инвалиды, он очень хотел жить. Этим, наверное, и воспользовались в КЕБ. Но их интересовала конечно же не я, хотя мать и сестра Локшина написали в своих доносах, что я, «как дочь капиталиста, ненавидела строй и пыталась вовлечь в свои дела их сына и брата».

Мне даже жалко стало сестру Локшина. Потому что одно дело написать донос, а совсем другое дело — отвечать за него. Она сидела передо мной в кабинете следователя такая бледная, испуганная, жалкая, что я не стала ей ничего говорить. Только следователю сказала, что все из произнесенного и написанного

девушкой — полная ложь.

КГБ интересовали Рихтер, Фальк. Но я понимала, что ни в коем случае нельзя упоминать их имена. Это вообще был закон того времени — ни в коем случае не называть имен. Я об этом и Локшину, не догадываясь о том, что он сексот, говорила.

Меня же, как преподавателя института иностранных языков, не раз вызывали то в учебную часть, то в производственную и как бы между делом спрашивали об учениках.

Я прекрасно понимала, что эти люди меньше всего интересуются успеваемостью моих студентов. Но говорила только о ней.

— Нельзя называть имена, — предупреждала я Локшина. — Если ты что-то слышал у того же Фалька, то можешь в крайнем случае сказать, что был свидетелем того, как Фальк ругается с женой. И не больше того.

— Как же так? — переспрашивал Локшин. — Ты что, станешь врать? И говорить, что ничего не слышала против власти, хотя на самом деле слышала?

— Врать этим сволочам? Конечно, стану! И еще как!

Между прочим, об этих моих словах Локшин тоже донес. Я читала все это в бумагах, которые мне показывал следователь.

Но вообще Шурик был очень интересным человеком. С ним можно было говорить на любую тему. Поэтому мы и проводили вместе много времени.

А Рихтер уже тогда все понимал и чувствовал. Но я не обращала на его предостережения внимания.

Как-то Локшин спросил меня, читала ли я рассказ Достоевского «Влас». Я ответила, что преклоняюсь перед Федором Михайловичем, но это не мой писатель и его рассказ я не читала.

Тогда он передал мне содержание этого, видимо, запавшего ему в душу произведения. В нем речь идет о крестьянине, которого внутренний голос убеждает выстрелить в чашу со святыми дарами. Тот поначалу не поддается на уговоры, но в конце концов не может совладать с собой, берет ружье и, придя в храм, стреляет в чашу. Поступок этот вызвал потом у Власа глубочайшее и искреннее раскаяние, побудившее его пойти пешком в Сибирь замаливать грехи. Но в тот момент, когда он нажал на курок и уничтожил святыню, крестьянин испытал чувство удивительного упоения.

Передаю все в интерпретации Локшина. Я тот рассказ так и не прочитала.

Секретарша Локшина потом говорила, что композитор не мог заниматься доносительством, потому что гений и злодейство не совместимы. А я-то как раз считаю, что очень часто гений и

злодейство идут рука об руку Достаточно вспомнить Марло, который по своему дарованию мог соперничать с Шекспиром, а по человеческим качествам был ужасен. Или вспомним Франсуа Вийона. Да сколько угодно можно привести таких примеров. Талант — это же как цвет глаз или волос, он может быть дан любому человеку.

Был ли Локшин гением? Для меня его музыка чужда. Но есть и те, кто считает, что он был очень талантлив.

Забавная деталь: когда меня посадили в лагерь, он приехал к нашим общим друзьям и привез им в подарок живого бурого кролика. «Это в память Веры, — сказал он. — Она ведь так любила животных». То есть Шурик был уверен, что я уже не вернусь и никто о его доносах не узнает.

Но, вот незадача, я выжила и вернулась из лагеря. И так получилось, что однажды даже встретилась с Локшиным. Дело было возле консерватории, где я встречала кого-то из своих подруг, чтобы пойти с ними к Светику. Выходим мы на Никитскую улицу, тогда она называлась улицей Герцена, и вдруг я вижу, что на противоположной стороне тротуара, туда, куда я собиралась идти, стоит Локшин. И еще улыбается мне.

До этого мы с Рихтером уже обсуждали, что делать, если я встречусь с Локшиным. «Пройди мимо него, словно он — пустое место», — сказал Светик.

Я так и сделала. Правда, не прошла, а пулей пробежала мимо него. Придя к Светику, рассказала, что со мной только что приключилось. «Ну, правильно, — сказал Рихтер. — Он думал, что убил курицу, бросил в кастрюлю и сварил. А она неожиданно выжила и вылезла из кастрюли. Теперь он снова хочет с тобой дружить».

Я с Локшиным конечно же не общалась больше.

Но так получилось, что его сын учился у Толи Якобсона, мужа моей лагерной «дочери» Майки Упановской. Я ее, тоже арестованную, «удочерила» в лагере. И когда мальчик заболел, Толя пошел к нему домой его проведать. Только переступя порог квартиры, Якобсон понял, где он оказался. Но мальчик же не был ни в чем виноват. И Толя пробыл у него столько, сколько было нужно.

А потом кто-то сказал: «А, вы проводили разведку боем, отправив своего друга домой к Локшину?»

Какая глупость!

Но и это не все. Один из журналистов, после того как я рассказала о доносе Локшина, написал обо мне: «Она строила планы мести, сидя на ледяных нарах».

Мы с Майкой Улановской были возмущены — какие ледяные

нары? В лагере очень жарко топили…

Прошло время, этот сын вырос и стал писать письма и книги в защиту отца. Мол, тот не был ни в чем виноват, а, наоборот, еще и сам пострадал, так как его мать и сестру вызывали в КГБ.

Но, увы, я точно знаю, что посадили меня именно «благодаря» доносам композитора Локшина…

* * *

Когда следователь во время допросов спрашивал, к кому я обращала слова о том, что «мне жалко людей», я ответила, что ни к кому конкретно, а просто так, «в пространство». И слава богу, по моему делу никого не арестовали.

Для меня лагерь стал своеобразным Зазеркальем. Потому что для себя я уже решила — все, жизнь закончилась. Что меня ждало, даже если бы срок закончился и мне не добавили бы новый? Ничего. Уехать из Красноярского края, где я сидела, было нереально. Надо было бы все равно оставаться на той же лесопилке и каждый месяц ходить в контору и отмечаться. Какая же это жизнь?

Ко всему происходящему я относилась совершенно спокойно. Когда мне говорили, что я плохо работаю или неправильно, скажем, пилю дерево, я соглашалась: «Да, это так, со мной коммунизм не построишь». И в конце концов к этому привыкли. Меня не ставили на пилку дров, а посылали к конвоиру, для которого надо было поддерживать огонь в костре. Правда, и там не все было гладко — молодой парень выдал мне топор и приказал рубить дрова для костра. Я топор-то взяла, но только и успела, что вонзить его в дерево, а достать обратно уже не могла ни при каких условиях. Конвоир удивился даже, как я с таким неумением колоть дрова до 30 лет дожила. Я ответила, что совершенно спокойно дожила, тем более что колоть дрова мне не приходилось. Парень удивился еще больше — как же я тогда печь топила. А услышав, что у меня в доме не было печи, вообще пришел в изумление — неужели существуют такие дома, где нет печей, которые надо топить. В итоге он поднялся со своего места, подошел к бревну, в котором застрял мой топор, играючи достал его и принялся с легкостью колоть дрова. Он так красиво работал, что я даже засмотрелась. Из-под его рук поленья вылетали, как аккуратно нарезанные куски торта…

В конвоиры обычно брали совсем необразованных людей, приехавших из глубинки, которые понятия не имели о самых для нас элементарных вещах.

Но удивительное дело, какими эти ребята оказывались порядочными людьми.

В то время самая большая премия им полагалась за то, что они предотвращали побег. То есть попросту убивали заключенного, отошедшего на десять шагов от таблички с надписью «Запрет». За это солдату давали месяц отпуска, два оклада премии и серебряные часы.

Казалось бы, большой соблазн для молодых ребят. Но за все то время, пока я находилась в заключении, нашелся только один конвоир, который застрелил заключенную. Он нарочно отправил ее за ветками для костра за табличку «Запрет» и нажал на курок. Очень уж ему хотелось поехать в отпуск к жене.

Об этом конвоире потом по цепочке передавали из лагеря в лагерь. Когда он вернулся из отпуска, его уже не посылали охранять заключенных на лесоповал, а посадили на вышку на территории лагеря.

В один из дней ему показалось, что застреленная им женщина идет к нему по воздуху, он испугался и, выпав со своего места, разбился. Через пару дней в больнице он умер.

А сколько раз я выходила на запрещенную территорию?! Конвоир кричал мне:

— Куда ты пошла? Ты что, не видишь, что написано на столбе?

Я отвечала:

— Почему не вижу? Вижу, «Запрет» написано. Чего ж не стреляешь? Стреляй!

Но он никогда не нажимал на курок.

Почему я так отвечала? Вовсе не из-за того, что была такой уж смелой. Просто… для себя я решила, что моя жизнь закончена, а все, что происходит теперь, уже не важно.

* * *

Вера Ивановна начала вспоминать о лагерной жизни и, кажется, совсем забыла обо мне.

Она откинулась на спинку стула, ее глаза были закрыты, а на губах, когда она умолкала, появлялась… улыбка.

Когда она открывала глаза, то, казалось, делала это лишь для того, чтобы удостовериться, что из прошлого в любую минуту можно вернуться в настоящее. А вовсе не для того, чтобы убедиться в моем внимании.

Я конечно же слушал ее, но Прохорова, думается, говорила не со мной. Или, вернее, не только со мной.

* * *

Среди осужденных иногда оказывались бывшие сотрудники госбезопасности. Они тщательно скрывали свое прошлое, иначе бы их разорвали. Ведь многие находились в лагере, отбывая повторные сроки после арестов в 37-м году.

В кругу своих эти чекисты признавались, что до войны у них существовали разнарядки — сколько человек из каждого района надо арестовывать каждый месяц. Если план выполнялся, блюстители госбезопасности получали премии. Но случалось, человек, которого собирались арестовать, переезжал в другой район. И тогда чекисты, чтобы не делать план конкурирующему отделению, не сообщали коллегам о переезде врага народа. И тот оставался жив. Благодаря обычному обмену квартиры.

Когда арестовали меня, все уже было более спокойно. Людям, по крайней мере, сохраняли жизнь.

А в 37-м расстреливали только так, без справедливого суда и серьезного следствия.

В те годы даже печальный анекдот родился. В десять вечера в дверь раздается стук. Хозяин с вещами идет открывать и через минуту радостный возвращается обратно: «Все прекрасно, это в нашем доме пожар».

В лагере, где я сидела, находились не только политические, но и рецидивисты-уголовники. Для них попасть к нам считалось чем-то вроде развлечения. В своих-то лагерях они были уже не по первому разу, вокруг одни знакомые лица, и, когда им все надоедало, они проделывали простой трюк. Рисовали на куске бумаги лицо с усами, подписывали рисунок именем Сталина и матерным словом, накалывали на черенок от лопаты и шли с ним по лагерю. Их тут же хватали, осуждали по политической статье и переводили к нам. Поскольку эти рецидивисты, в отличие от нас, идеологических врагов, считались «социально близкими», их назначали либо бригадирами, либо в медсанчасть, либо на кухню. В общем, давали самые хлебные места, поэтому они всячески стремились попасть в наш лагерь…

Как-то в нашем бараке очутились две сестры, оказавшиеся близкими подругами Полины Жемчужной, жены Молотова. Очень красивые были женщины, с лицами еврейских пророчиц. Они, разумеется, были уверены, что их арест — это ошибка и вот-вот Полина поможет им освободиться. Не знали, бедные, что и сама жена ближайшего соратника Сталина находится за решеткой.

Старшая сестра держалась особняком, а младшая, наоборот, всячески пыталась завоевать доверие у блатных — ругалась матом, старательно бросалась выполнять любую работу. Но,

разумеется, «своей» ее все равно никто не считал. Блатных она раздражала своими настойчивыми попытками войти в круг приближенных.

В конце концов эта бедная женщина надорвалась, заболела раком, и ее отправили в тюремную больницу.

Старшая сестра стала просить свидания, упоминая о своих заслугах перед революцией, вспомнив близкое знакомство не только с Жемчужной, но и чуть ли не с Лениным. Но внимания на нее конечно же не обращали.

В один из дней из больнички вернулся этап выздоровевших заключенных, и кто-то из них передал ей, что сестра умерла.

Что тогда стало с этой женщиной! Она вышла на середину лагерного двора, сорвала с себя платок, под которым оказались роскошные, длинные, черные как смоль волосы, запрокинула к небу свое гордое красивое точеное лицо и закричала: «Будьте вы прокляты! Зло всегда возвращается ко злу! Я всегда понимала, какая несправедливость творится вокруг, когда арестовывали лучших людей, но делала вид, что ничего не происходит, и аплодировала палачам. И вот мне возмездие! Я заслужила эту кару! Но вы — будьте прокляты!» Как она кричала, какие слова произносила!

Все заключенные разбежались по своим баракам, и только я осталась стоять во дворе. Такое у меня свойство характера — я антипаникер. Когда происходит что-то страшное и все приходят в движение, я становлюсь излишне спокойной и не двигаюсь с места.

Больше полувека прошло, а у меня до сих пор перед глазами лагерный двор и произносящая проклятия та красавица-еврейка…

В лагере легенды ходили о знаменитой певице Лидии Руслановой, жене генерала Крюкова, одного из самых доверенных людей маршала Жукова. Разумеется, ее арестовали не за вагоны музейных ценностей, привезенных в качестве трофеев ее мужем из Германии, о чем тогда много говорили.

Через легендарную исполнительницу русских народных песен хотели найти компромат на Жукова. Но ничего не вышло.

Я саму Русланову не застала, но многое слышала о том, как достойно она себя вела.

А со мной в одном бараке сидела жена бывшего советского консула в США. Вся его семья была репрессирована за то, что преподавательница русского языка, работавшая в советском посольстве, сбежала, решив остаться в Америке. Убежище ей предоставила дочь Льва Толстого Александра, у которой под Нью-Йорком был пансион для русских эмигрантов. Когда о месте нахождения этой учительницы, Косьменкова ее фамилия, я

запомнила, узнали в посольстве, женщину выкрали и посадили под арест в комнате на верхнем этаже консульства. Отчаявшись вырваться на свободу, она открыла окно и выпрыгнула из него. Осталась жива, только ногу сломала. И принялась истошно кричать. Ее крики услышали американцы, подобрали и увезли. Потом в наших газетах писали, что Косьменкову выкрали империалисты.

Советского консула после этого вызвали в Москву, якобы на повышение. А когда он приехал, арестовали и расстреляли. Его жену тоже обманом вызвали на Лубянку, на сей раз под предлогом того, чтобы она помогла разобраться с письмами. Здесь ее арестовали и дали десять лет лагерей…

Но мне заключение прежде всего запомнилось удивительной красотой сибирской природы. Казалось, что весь горизонт участвует в великолепном действе — деревья и облака создавали волшебный пейзаж. И каким бы ни был отпетым заключенный, он все равно выходил на улицу и завороженно наблюдал то за облаками, которые принимали самые причудливые формы, то за лучами солнца, всеми цветами радуги окрашивающими горизонт.

Мы не думали о том, когда нас освободят. Просто жили, и все. Да и что ждало после освобождения? Та же Сибирь. Только без работы, потому что устроиться бывшему политическому было практически невозможно. Даже говорили, что в лагере еще и лучше — утром давали какую-то баланду, на обед — черпак каши, а на ужин — рыбную похлебку.

Ничего, жить можно было…

* * *

Конечно, я рассказывала в лагере о своей семье.

Почему же нет? Я была единственной русской в камере, тогда пятый пункт много значил. Только за него, кажется, могли схватить.

Со мной потом сидела бывшая кагэбистка. Мелкая сошка какая-то. Она попала в лагерь потому, что не успела донести на подругу, с которой вместе смеялась над политическим анекдотом. А та не поленилась — побежала и донесла.

Суда как такового надо мной не было. Слава богу, этих рож я не видела. 24 декабря было заседание Особого Совещания, фактически распоряжавшегося судьбами арестованных, а 5 января мне зачитали приговор. За «разговоры» дали 10 лет.

У нас в институте работала молодая полька. Так ее посадили только за то, что на каком-то дне рождения она посмела

произнести фразу: «Когда Сталин умер». На нее тут же донесли, что она посмела сказать «умер». Сталин же считался бессмертным. Ей дали чуть ли не 20 лет за «террористические намерения». Из-за того, что только «намерения» были, ей «повезло» — маленький срок дали. А ведь могли и расстрелять…

У Оруэлла в «1984» все это потрясающе точно описано. Я потом спрашивала у англичан, откуда писатель имел такое чутье к происходящему у нас, он же никогда не был в Советском Союзе. Наверное, Оруэлл сумел все прочувствовать на гражданской войне в Испании, где сражались и наши. Он удивительно точно описал, как родители могут бояться своих детей. У нас ведь всюду стояли памятники Павлику Морозову, который донес на отца за то, что тот не выдал хлеб государству, а хотел скормить Павлику. Того, правда, тоже прикончили. Но он считался героем.

* * *

Своих детей у Веры Ивановны нет. А в лагере появились. Там она воспитывала «лагерную дочь», как она называет Майю Улановскую (выше она уже упоминала ее), дочь главы советской резидентуры в США, попавшую в лагерь в 1951 году.

* * *

Тогда ведь и дети могли попасть за решетку. Майке было 17 лет. Ее вместе с другими ребятами, организовавшими «Союз борьбы за дело революции», арестовали за то, что они собирались, читали Плеханова, Маркса и хотели что-то исправить. Их всех схватили, изобразив как контрреволюционную группу, нацеленную на свержение строя.

Детей судил военный трибунал. Девочкам дали по 25 лет, а мальчиков расстреляли. Даже для того времени приговор был суровый. При том, что следствие велось довольно мягко. «Что же вы к нам не пришли, — говорили им следователи. — Мы тоже хотим изменений». Поэтому смертный приговор был как гром среди ясного неба. Какая омерзительно подлая игра с детьми, которая так страшно кончилась!

В лагере я была Майке за мать — следила за тем, как она себя ведет, как могла, оберегала ее. И все меня как ее мать и воспринимали. Приходили ко мне, например, украинки и жаловались: «Наш Маевщик выругался матом». Я тогда подзывала ее к себе и говорила: «Если будешь так поступать, я не стану с

тобой разговаривать».

* * *

Несколько лет назад Майя Улановская, живущая ныне в Израиле, выпустила книгу воспоминаний, в которой, среди прочего, описывает свою первую встречу в лагере с Верой Прохоровой. «Здесь, на 42-й колонне, я встретилась с Верой Прохоровой. Пришел очередной этап, и в столовую потянулось новое пополнение. Вера выделялась высоким ростом, шла, прихрамывая на обе ноги — обморозила в этапе. Из-под нахлобученной мужской ушанки глаза глядели задумчиво и отрешенно. Мне сказали, что она из Москвы, и я пошла вечером к ней в барак. Все в ней меня поражало, начиная с происхождения. Она была религиозна, и мне было легче понять с ее помощью высоту религиозного сознания. Я почувствовала в ней утонченность большой европейской культуры, которую получаешь по наследству.

В юности Вера была комсомолкой, проклинала своих предков-капиталистов, за что, как она считала, и покарал ее Бог тюрьмой…

С каким исключительным смирением и кротостью она переносила заключение! Я впервые столкнулась с особым явлением: добротой из принципа, которая была выше человеческих возможностей».

* * *

Майка рассказывала мне о своем отце. Тот вырос в еврейском местечке, работал кузнецом. И влюбился в дочь раввина. Поженившись, им пришлось бежать из местечка, так как местные не давали им житья — как это так, мол, дочь раввина вышла замуж за кузнеца. Более жесткой дифференциации, чем в местечке, вряд ли где бывает.

Об этом мне потом поведал сам отец Майки, мы с ним познакомились после лагеря. У него очень интересная судьба.

После революции он воевал на Гражданской против Махно, Петлюры. И стал одним из руководителей партизанского движения. Вместе с женой они ездили на тачанке, воевали за советскую власть.

Как-то его вызвали в Москву, где он должен был отчитаться перед Дзержинским. Отец Майки рассказывал об этом очень живо. «Первое впечатление от Дзержинского было тяжелое, — говорил

он мне. — Он был скорее красив — зеленые глаза, которые иногда становились карими. Но взгляд был ледяной. Даже меня после фронта приводил в смущение. Тихий голос, учтивые манеры. Он же ксендзом хотел быть. А передо мной отчитывался командир, который сдал белым какое-то село. Пока он стоял перед Дзержинским, тот предложил мне выпить стакан чаю.

И вот я пью, а Феликс Эдмундович, вежливо обернувшись ко мне: „Я сейчас закончу“, подвел этого мужчину к карте, разложенной на столе, начал спрашивать, почему он не удержал село. И когда тот начал что-то говорить, Дзержинский достал револьвер и выстрелил ему в ухо. Потом спокойно нажал какую-то кнопку, вошли солдаты и тело вынесли. А Дзержинский обратился ко мне: „Вы закончили с чаем? Тогда прошу вас подойти к карте“».

Их разговор закончился хорошо, на фронте у отца Майки дела шли неплохо. Но он все равно был в шоке. «Я видел моря крови, но такого жуткого впечатления никогда ни до, ни после не испытывал». В конце, когда он уже уходил, Дзержинский даже улыбнулся ему: «Спасибо, удачи. Я вами доволен». И протянул свою ледяную руку.

«Я пожал ее. И взглянул в его ледяные, но проницательные глаза».

Потом отец Майки стал шпионом. Причем мирового масштаба. Одно время он даже был руководителем Рихарда Зорге. И говорил, что тот был бесконечно предан России, все время предупреждал Сталина о том, что грядет война. Но Сталин внял своему другу Гитлеру…

Потом отца Майки отправили в США, где он был резидентом. Там в 1933 году и родилась Майка.

Когда я ей сказала, что она может претендовать на американское гражданство, она засмеялась: «Ты думаешь, я под своей фамилией родилась? Я же дочь шпиона!» Мать ее в Америке прониклась всем американским, но они вернулись. Отец какое-то время был не при делах, а потом его взяли преподавателем. Они с женой ведь были членами Коминтерна. Потом, конечно, арестовали. Но чекист, который занимался его делом, как оказалось, воевал с ним на Гражданской. И он уничтожил его дело. Благодаря этому в 37-м отец Майки уцелел…

* * *

Мы сидели в Озерлаге. Несмотря на красивое название, это был обычный концлагерь, где нам полагалось носить номера на

груди и на спине. Но я даже радовалась, что у меня номер. Какая я для них Вера Ивановна Прохорова? А по номерам, кстати, можно было понять, сколько человек сидит в лагере. Я была АБ 294. Так мы и носили эти «ордена».

Меня удивляли немки, которые вышивали себе номер рыбьей костью: выдергивали через трико ниточки и вышивали на спине. Я никак не могла понять, зачем им это надо.

У нас был жуткий надзиратель-белорус, который говорил: «Вы не женшины, вы гхады! Вы никто отсюда не выйдете, вы здесь найдете смерть!»

А я ходила в хламиде и, в отличие от «вышивальщиц», не следила за одеждой. Меня этот белорус даже хвалил: «Вот эта женшина все правильно понимает!»

Майку и других осужденных девочек потом, как и меня, тоже выпустили из лагеря, только не реабилитировали. Потому что это выглядело бы как прощение. А так, выпустить выпустили, но дальше живи как хочешь. Работу же им было найти невозможно.

Мужем Майи был Толя Якобсон, который дружил с Анной Ахматовой, писал о ней, был хорошим переводчиком. И диссидентом.

В конце шестидесятых он редактировал «Хронику текущих событий». Фактически Якобсон был одним из первых советских правозащитников. Его, разумеется, вызвали в КГБ. А Толя был невероятной честности, широты и обаяния человек, который понимал, что у людей с Лубянки просто такая работа, и потому относился к кагэбэшникам доброжелательно. Что их очень удивляло, и за это они к нему тоже относились хорошо, в их понимании, конечно.

Они прямо сказали ему: «Анатолий Александрович, мы кого купим, кого арестуем, но компромат на вас найдем и в покое все равно не оставим. Советуем вам уехать в Израиль».

Якобсон не хотел эмигрировать, говорил, что за границей у него никого нет. «Да и с визой как быть?» — наивно спрашивал он. «Мы вам все сделаем», — «успокаивали» его кагэбэшники. Тошка все равно категорически не хотел ехать.

Но у них был 7-летний ребенок, страдающий болезнью почек. А эту болезнь хорошо лечили в Израиле. И Майя рассудила: «Ну что, тебя арестуют, меня тоже. А сын пойдет в детский дом и погибнет».

Вот тут Тошка дрогнул.

Его другом был Даниэль, который тоже не хотел уезжать из страны. Тошка писал ему письма: «Бывает, человек заболевает скарлатиной. Кто-то вылечивается, а кто-то умирает. Вот я умираю. Вы все говорите мне, что это временно. А я знаю, что это

навсегда».

Бедный, он не знал, что придет время и можно будет легко ездить из Израиля в Россию. Он говорил: «Да, здесь красота, течет Иордан, стоит Иерусалим. А мне бы в Москве под последним забором жить».

Вот вам и голос крови — стопроцентный еврей оказался патриотом России.

Уезжая, он взял с собой собаку, для которой сделали специальную деревянную клетку. На таможне решили, что под этими деревяшками пытаются вывезти золото и приказали ее сломать. Будку разобрали прямо в аэропорту, потом собрали, ничего, разумеется, не обнаружив. Тогда с Толи просто потребовали денег. А то, говорят, мы вашу собачку так выгрузим, что одни кости соберете.

Провожать его собрался полный аэродром народа. И Тоша всем говорил: «Спасибо, что пришли на мои похороны. Я там жить не смогу». Лидия Чуковская там была, он дружил с ней. Сидела черная как ворон. Академик Сахаров в аэропорт приезжал, Тоша был с ним в хороших отношениях.

Так как Майке не до этого было, Якобсон за несколько дней до отъезда позвал меня съездить с ним к Сахаровым, проститься. Андрей Дмитриевич произвел на меня впечатление удивительно мягкого человека, от которого странно было ожидать железной твердости в отстаивании своих убеждений. Он напоминал скорее дачника, который из самовара пьет чай.

Но его супруга! Это было исчадие ада, просто исчадие! Глаза черные, вращаются вокруг своей оси. Она, видимо, держала Андрея Дмитриевича в ежовых рукавицах. Потом Елена Боннэр стала вся такая революционная, а тогда говорила: «Толя, вы же будете свободным человеком. Вы же член ПЕН-клуба!»

А Толя только говорил: «Андрей Дмитриевич, спасибо, что вы прощаетесь со мной. Это мои похороны!» И Толя действительно не смог там жить. Он повесился.

А Майка и сейчас в Израиле. Она регулярно мне звонит, мы часами с ней говорим, вспоминаем…

* * *

После доклада Хрущева в 1956 году о культе личности Сталина действительно освободили всех политических заключенных.

Меня освободили по двум статьям — хрущевской и ходатайству моих друзей. Это все была инициатива Юры

Нагибина, он все это организовывал.

В лагере мне сказали, что я могу не засчитывать проведенные в заключении шесть лет. Я отказалась — как это так, не считать столько лет жизни. «Ну тогда, — предложили мне, — вы можете говорить, что эти годы были посвящены сотрудничеству с КГБ». Ну, тут уж я тем более отказалась!

После лагеря меня восстановили в институте.

А еще реабилитированным давали двухмесячную зарплату и помещение для жилья. Мне дали коммуналку, так как и до ареста я жила в коммуналке.

А потом старик из нашего дома на улице Фурманова уходил в дом престарелых, и я с ним поменялась. Ему же все равно было, какую комнату сдавать государству.

Так я оказалась в доме, где прошло мое детство и юность. Круг замкнулся…

* * *

Часто ли я вспоминаю прошлое? Конечно, часто.

Не думаю, что моя семья и ее связи были какими-то особыми. Тогда все семьи из так называемой буржуазии были связаны. Все же было общее — балы, вечера, ужины, где молодые люди встречались, влюблялись и создавали семьи.

Бабушкина тетка Мария Петровна была замужем за поэтом Афанасием Фетом. Говорили, что он женился на деньгах.

Тетя Маша особой красотой не отличалась. Но подобные разговоры ее обижали. Она собрала нежные письма Фета к ней и доказала, что его чувства были искренни. За честь семьи она стояла горой.

Они действительно жили дружно. Фет был хороший хозяин и хорошо управлял имением, где они проводили большую часть времени.

Моя прабабка была двоюродной сестрой Станиславского, одна из ее дочерей вышла замуж за друга Тургенева. Прабабка после смерти мужа осталась молодой вдовой с детьми. И сумела не просто справиться с Трехгорной мануфактурой, но и поднять ее!

Ее дочь Варвара вышла замуж за мужа своей покойной сестры. Когда та умерла, прабабка заставила Варю взять овдовевшего зятя в мужья, чтобы детей воспитывала не мачеха, а родная тетка.

Брат моей бабушки со стороны мамы — Евгений Сергеевич Боткин — был врачом Николая II, последовал за ним в ссылку и

был расстрелян в Екатеринбурге.

Он, кстати, отказался сотрудничать с новой властью. И за это именно ему поручили разбудить семью императора в их последнюю ночь.

Жена его в это время вместе с двумя детьми находилась в Париже. Они выжили.

У нас говорили, что дядя Женя был героем и святым. Считали, что его надо канонизировать. Он ведь сам пошел на смерть, отказавшись предать государя.

В советские времена о нем не говорили, кроме того, что вместе с царем был расстрелян его врач. Но дома у нас о нем никогда не забывали.

Говорили, что он очень любил детей. Но был очень занят. Ему часто приходилось жить во дворце, так как наследник был очень болен. Дядя Женя ведь был лейб-медиком и по долгу должен был находиться рядом с императорской семьей.

Дедушка рассказывал, что там был врач Бадмаев — друг и пособник Распутина. Именно благодаря Бадмаеву наследнику становилось плохо аккурат в те дни, когда Распутин уезжал. И императрица думала, что здоровье сына связано с присутствием Распутина. А Бадмаев просто цесаревичу что-то подмешивал в еду…

Это все имена, значимые в русской и мировой истории. Но ничего особенного в этом нет.

Так было у всех. Все женились на знакомых из одного круга. Конечно, кто-то мог жениться на крестьянке. Но для этого надо было жить в деревне, чтобы ее встретить. Такой случай был бы уникальным. Потому и женились и выходили замуж за людей своего круга.

Браки были не то чтобы сословными, но естественными. А после революции все, конечно, уже смешалось…

* * *

Я уже давно живу на свете и могу сказать одно: Божья воля существует. А судьба…

Я верю, что человек волен исполнить то, что ему дал Создатель.

А еще человек может раскаяться и изменить свою судьбу.

В скандинавских сагах злые норны правят миром. Но их власть бессильна, если они не находят сообщников в наших душах…

Глава 2
Светик

Линия жизни

Святослав Рихтер

Родился 20 марта 1915 года в городе Житомир в семье композитора и органиста Теофила Рихтера и портнихи Анны Москалевой.

В 7 лет начал учиться музыке.

В 1934 году на сцене Одесского дома инженеров состоялся первый сольный концерт Рихтера-пианиста.

Летом 1937 года приехал в Москву и поступил в консерваторию в класс Генриха Нейгауза. Однако за несдачу экзаменов по общеобразовательным предметам был отчислен и вернулся в Одессу. Лишь после вмешательства профессора Нейгауза смог вернуться в Москву и начать учебу в консерватории.

26 ноября 1940 года состоялся первый концерт в Москве, на котором Рихтер исполнил Шестую сонату Сергея Прокофьева.

В 1943 году состоялось знакомство с Ниной Дорлиак, в будущем ставшей его гражданской женой.

В 1948 году состоялись их совместные выступления в Бухаресте.

В 1949 году становится лауреатом Сталинской премии 1-й степени.

1951 год — Сергей Прокофьев посвящает Рихтеру Девятую сонату, первое исполнение которой состоялось 21 апреля.

В 1952 году первый, и единственный, раз выступил в качестве дирижера.

За исполнение Второго концерта Брамса стал лауреатом премии «Гремми» — первым среди музыкантов Советского Союза.

Один из самых гастролируемых пианистов мира. Первые заграничные гастроли состоялись в Румынии.

1961 год — знакомство с Пабло Пикассо, выступление в Ницце на вечере, посвященном 80-летию художника.

1 декабря 1981 года — первый музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера» в ГМИИ им. Пушкина.

28 марта 1995 года — последнее выступление, состоявшееся в немецком Бремене.

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственных премий.

Скончался 1 августа 1997 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Нина Дорлиак

Родилась 7 июля 1908 года в Санкт-Петербурге в семье профессора Московской консерватории Ксении Дорлиак.

До большевистского переворота 1917 года Ксения Дорлиак была фрейлиной последней российской императрицы Александры Федоровны.

В начале 1930-х годов переехала в Москву.

Родная сестра актера театра им. Вахтангова Дмитрия Дорлиака, считавшегося первым героем-любовником Москвы. После смерти брата воспитывала его сына Дмитрия, ставшего единственным наследником Рихтера и Дорлиак.

1941 год — уезжает в эвакуацию в Тбилиси, где сближается с Ольгой Книппер-Чеховой, актрисой Художественного театра, вдовой Антона Чехова, и композитором Сергеем Прокофьевым.

Первый сместный концерт с Рихтером состоялся во время авторского вечера Сергея Прокофьева в 1945 году.

С 1947 года — профессор Московской консерватории.

Одно из самых известных произведений в ее исполнении — «Гадкий утенок» Прокофьева.

Народная артистка СССР.

Скончалась 17 мая 1998 года.

Похоронена на Новодевичьем кладбище.

* * *

В 1956 году среди подписей в ходатайстве об освобождении Прохоровой стояла и подпись Святослава Рихтера. Ее Светика.

Во время нашей первой встречи Вера Ивановна рассказывала о Рихтере до пяти утра. И потом, во время всех наших последующих бесед, как я уже упоминал, имя великого пианиста постоянно звучало из ее уст. И в этом не было ничего странного: Рихтер был поводом не только моих разговоров с Прохоровой. Он был смыслом всей ее жизни.

Французский режиссер Брюно Монсенжон, имя которого, кстати, еще появится в этой главе, получив предложение Рихтера записывать его мемуары, признавался, что, едва приступив к работе, ощутил страстное желание заснять монологи пианиста на камеру. Что ему в конечном счете и удалось.

У меня, слушавшего воспоминания Веры Прохоровой и переживавшего в эти мгновения все, кажется, возможные эмоции, тоже очень скоро появилось сожаление, что биография века, а более точного определения к рассказам Прохоровой подобрать вряд

ли возможно, записывается лишь на диктофон.

С одной стороны, можно позавидовать Монсенжону. А с другой, я тоже считаю себя счастливцем. Потому что монологи Веры Ивановны мне удалось записать. Пусть хотя бы на диктофон и любительскую видеокамеру.

А с другой стороны, почему так уничижительно «хотя бы»?

Думаю, это как раз самая идеальная форма для рассказа о человеке, который после музыки больше всего любил читать.

Кстати, отношение к книгам было своеобразным камертоном, благодаря которому Рихтер понимал, что за человек перед ним.

Он сам, кажется, едва ли не наизусть знал все великие книги мира. С Юрием Нагибиным у них, например, была такая игра — кто лучше знает Пруста. Один из друзей произносил какую-нибудь строку из произведений французского гения, а другой должен был ее продолжить.

Последней книгой, которую перечитывал Рихтер перед смертью, была «Отцы и дети» Тургенева. Поначалу роман ему читали вслух. Но когда дошли до эпизода смерти Базарова, чтение решили прервать. Тогда Рихтер сам взял книгу и дочитал ее до конца…

Другой страстью музыканта было кино. Не случайно одними из самых близких его подруг были две самые большие мировые кинозвезды — Любовь Орлова и Марлен Дитрих.

С Любовью Петровной его познакомил отец, который давал Орловой частные уроки во время ее гастролей в Одессе. Спустя годы именно Любовь Петровна сыграет важную роль в том, чтобы Рихтера выпустили на его первые зарубежные гастроли. А в 1952 году с ее легкой руки музыкант даже снялся в фильме. В картине Григория Александрова «Композитор Глинка» Рихтер сыграл Ференца Листа.

Знакомство с Марлен Дитрих состоялось в Париже. Актриса пришла на концерт пианиста и была под таким впечатлением от его игры, что отправила музыканту записку, в которой на нескольких языках объяснилась в любви и пригласила в гости.

Рихтер приглашение принял и преподнес Дитрих алую розу. Потом он с улыбкой рассказывал, с каким разочарованием его встретила кинодива. Очевидно, вспоминал Рихтер, она ждала что-то большее, чем одну розу.

Потом между ними завязались дружеские отношения. Дитрих даже обсуждала с музыкантом сценарий собственных похорон и интересовалась, есть ли такой же сценарий у самого Рихтера. Когда Марлен умерла, уже через несколько дней после ее смерти Рихтер сыграл в Мюнхене концерт памяти Дитрих…

Я не случайно начал рассказ о Святославе Рихтере именно с

этих историй. Потому что в них, на мой взгляд, он предстает реальным человеком. А не этаким «Пушкиным от рояля» с известным всему миру по фотографиям обликом — лысоватый, во фраке, с отрешенным лицом и за роялем.

Если продолжить тему об увлечениях Рихтера, то на третьем месте после литературы и кино (не по важности, а если просто по порядку) будет живопись.

Самого Святослава Теофиловича не раз писали. Есть даже картина, на которой он изображен опять-таки во фраке и за инструментом, а рядом с ним стоят рабочие в спецовках и, как говорится, внимают. Картина Е. Корленко называется «Музыка и труд». И получилась она такой же фальшивой, как и сама идея советских начальников устраивать подобные концерты.

Но есть и портрет кисти Кетеван Магалашвили, который сегодня находится в Национальной галерее Грузии. И вот там Рихтер совсем другой — такой, какой он, наверное, и был в жизни. Недаром он сам говорил, что счастливейшие дни в своей жизни провел в конце сороковых годов в Тбилиси, когда рядом с ним были друзья. А Кетеван Магалашвили, конечно же, была одним из них…

В этой книге не будет критических размышлений о том, когда и какой концерт Рихтер исполнил лучше. Они в контексте настоящего рассказа тоже будут выглядеть фальшиво и даже, наверное, нелепо. Потому что я разговаривал не с музыковедом, а с женщиной, которая шесть десятков лет просто была самым близким для Рихтера человеком.

Здесь будет история обычного гения, о котором следует не только написать книгу, но и снять художественный фильм. Ибо его жизнь — это самый великий сценарий, который мог сочинить XX век.

Одну из главных ролей в нем конечно же сыграет и Вера Прохорова. И потому ей слово…

* * *

Когда Рихтер приехал в 1937 году в Москву из Одессы и поступил в консерваторию, то Нейгауз прописал его у себя.

А всю войну Слава прожил у нас. Я тогда была студенткой, Светик — студентом, дом наш был открытым и гостеприимным.

Наша первая встреча со Светиком состоялась в доме Генриха Нейгауза в день именин Варвары — 17 декабря 1937 года. Генрих Густавович всегда отмечал этот праздник. Варварой звали мою бабушку, тещу Нейгауза. Генрих Густавович был женат на моей тетке, поэтому в его доме я бывала довольно часто.

Сам Нейгауз был из Елисаветграда, где у его отца была своя музыкальная школа. В этой школе учились и Генрих, и Зинаида (будущая жена Пастернака), и моя тетка Милица. О Милице Генрих Густавович говорил: «Она моя первая и третья жена». В Елисаветграде у них был роман, а потом Нейгауз уехал в Киев и из-за Гражданской войны они оказались отрезаны друг от друга. В Киеве Нейгауз стал профессором и мужем Зины. Лишь после того как Зинаида вышла замуж за Пастернака, Нейгауз наконец женился на тете Милице. Причем так получилось, что младшего сына Стасика Зина оставила тетке и Генриху Густавовичу. Она больше всех любила старшего сына Адика. С ним и Борисом Леонидовичем ездила в Тифлис. Только когда Адик умер от туберкулеза — это случилось в мае 1945 года, — Зина обратила внимание и на Стасика…

У Генриха Густавовича был наивный отец. Он писал письма родственникам в Германию и рассказывал в них обо всем, что видел. А видел он довольно неприглядные вещи — голод, очереди, циничное поведение властей.

Его пытались отговорить от излишней откровенности. Но он отмахивался: «Кто будет читать мои письма?» И еще приписывал в них: «Гарри боится вам писать (дома Генриха Густавовича звали Гарри. — *В. П.),* но он чувствует то же самое».

Потом, когда Генрих Густавович был арестован, ему эти письма цитировали следователи…

* * *

Наше знакомство с Рихтером состоялось за несколько лет до ареста Нейгауза. Тогда в доме царило праздничное настроение, и ничто не предвещало грозных событий, которые вскоре потрясли всю страну…

Это произошло, как я уже говорила, на Варварин день. Я пришла, сняла шубу, а я неловкая, и она все время выпадала у меня из рук.

Ко мне подошел улыбчивый молодой человек и помог поднять шубу. Он поднял ее, и мы захохотали. И я подумала: до чего же милый и приятный человек.

— Слава, — представился он.

— Вера, — ответила я.

Между нами сразу проскочила какая-то искра взаимного притяжения. И, улыбнувшись в ответ на улыбку Рихтера, я почувствовала — этого человека я знаю очень давно…

Жизнь наша была очень веселой.

Светик вовсю хулиганил с дочерью Нейгауза Милкой. Она как-то предложила бросить из окна тарелки, чтобы посмотреть, как они будут падать. Картина им так понравилась, что они принялись бить всю посуду.

И тут в комнату зашла моя тетя.

— Что это за безобразие, что вы делаете? Ах, все тарелки разбили? Ну, если последняя осталась, тогда и ее бросай!

В консерватории Слава категорически не мог сдать военное дело и марксизм. Мы с ним по очереди занимались.

В конце концов он придумал, как одолеть эту науку. Говорил: «Как бы понять слово „партия“? Ага, нарисую ее как дом (а он очень хорошо рисовал). Так, партия ушла в подполье, значит, дом опустился под землю».

О вождях мог запомнить только то, что Сталин и Ленин — вожди, а Троцкий — иуда.

Когда его спрашивали, а кто такой Жданов, он уже не знал, что ответить. А услышав, что Жданов тоже вождь, удивлялся: «И почему все так хотят быть вождями?»

* * *

Светик был очень дружен с Ростроповичем, он был всего на несколько лет его старше.

В консерватории им даже выдавали один лист с талонами на двоих. Там все по алфавиту было, а они оба на букву «Р». Предполагалось, что музыканты получали этот лист, а потом делили пополам.

А поскольку обычно я получала за Славу талоны, то решила первым делом отвезти их домой Ростроповичу Дверь мне открыла его мать, Софья Николаевна. Она была очень колоритной женщиной, с большой толстой косой. Довольно решительная дама. Ростропович почему-то называл ее Чижиком.

Вспомнилась одна забавная история.

Ростропович талантливо умел пародировать голоса людей. И вот как-то, когда его не было дома, у них зазвонил телефон. Это был, кажется, Мигай, профессор из консерватории. Почему-то он позвонил в семь утра. И мать Славы взяла трубку и довольно-таки прямо сказала все, что думала о звонящем. «Я тут голая стою и тебя дурака в семь утра слушать должна?!» Она была уверена, что звонит Слава.

Ну так вот, привезла я Ростроповичу талоны, и он очень обрадовался. «Как хорошо быть на одном листе с Рихтером. А то до этого я был с одной виолончелисткой, так она первая получала

талоны и все тратила на себя!» Ростропович был очень непосредственный человек.

Как-то он поехал на гастроли, по-моему, в Свердловск. А тогда было трудное время, и он не смог найти манишки. В итоге надел под фрак вырезанную из простыни материю. Ботинок своего размера тоже найти не смог и обул на два размера меньше. И вот практически на цыпочках вышел на сцену и начал играть. Во время выступления материя из-под фрака вылезла и стала топорщиться, словно крылья. Зал принялся переговариваться. А потом один мужчина не выдержал, подошел к сцене и сказал Славе: «Уходи!» И он ушел — со своими крыльями, на цыпочках, волоча за собой виолончель, как дети волочат на веревочке игрушечную машину.

Мы были дружны. А потом он женился на Галине Вишневской, довольно властной женщине. И наше общение со Славой сошло на нет.

В 1973 году в Большом зале консерватории Рихтер, Ойстрах и Ростропович должны были играть Тройной концерт Бетховена. Власти Ростроповичу выходить на сцену Большого зала не позволили. И заменили его другим музыкантом. В ответ Светик отказался играть. И в итоге концерт Бетховена сыграл все-таки Ростропович.

* * *

С Рихтером мы были очень близки до его последнего дня.

У меня было к нему большое чувство, которое началось с дружбы. А когда встал вопрос о его аресте, я поняла, что Светик для меня больше, чем просто друг…

4 ноября 1941 года арестовали Генриха Густавовича Нейгауза, он же был немцем. Его обвинили в том, что он отказывается эвакуироваться из Москвы. А он не мог оставить Милицу, которая не хотела уезжать из столицы из-за старой матери. Та бы просто не перенесла дорогу.

Бабушка Варвара умерла год спустя, в 1942 году…

Потом из ссылки Нейгауза освободят благодаря усилиям его учеников Гилельса и Зака. И позволят из Свердловска вернуться в Москву…

Через несколько дней после его ареста пришли и за Святославом. Он находился в ванной, когда в квартиру заявился энкавэдэшник и объявил: «Лихтеру с вещами необходимо явиться туда-то».

Милка, дочь Генриха Густавовича, была еще девчонкой. Она и

встретила чекиста. Выслушала его и крикнула: «Свет, это к тебе». Рихтер вытянул руку из ванной комнаты, взял повестку, прочел ее и выходить отказался: «Это Лихтеру. А я Рихтер и никуда не пойду».

Так посыльный ни с чем и ушел. Но мы поняли, что на этом дело не закончится и Светику надо уезжать. А поскольку стараниями все того же НКВД в нашей квартире на улице Фурманова переулке освободилась одна комната — были арестованы мои дядя, тетя и двоюродный брат, то Рихтер уже через день перебрался к нам и прожил в этой комнате всю войну.

Его хотели арестовать из-за национальности, он же тоже был немцем. Ему из-за этого и первое место на конкурсе имени Чайковского не дадут, он его разделит с другим пианистом.

Хотя когда уже после войны ему, знаменитому на весь мир пианисту, говорили в Германии: «Вам, наверное, приятно видеть на вашей Родине великую реку Рейн», он отвечал: «Моя родина — Житомир, и Рейна там нет».

* * *

У Светика было ощущение, что с ним ничего не случится. Как будто он был в дружбе со всеми элементами природы.

И даже страшные эпизоды его жизни, которые сокрушили веру в самого любимого человека — в мать, и смерть отца не смогли погасить в нем внутренний свет.

Но я думаю об этом не надо…

Или если уж вспоминать, то обо всем?

К сожалению, я довольно точно знаю, как все было.

В 1937 году Слава приехал из Одессы в Москву поступать в консерваторию к Генриху Нейгаузу. Хотя Светик нигде не учился (только дома отец занимался с ним), Нейгауз сказал: «Это ученик, которого я ждал всю жизнь». Потом Генрих Густавович в одном из писем напишет: «Рихтер — гениальный человек. Добрый, самоотверженный, деликатный и способный чувствовать боль и сострадание».

И Слава начал учиться в консерватории. Поначалу жил у друзей, а потом его прописали у Нейгауза, и он перебрался туда.

Родители его остались в Одессе.

Отец был на 20 лет старше матери. Слава рассказывал, что тот был замечательным музыкантом, играл на органе и даже сам что-то сочинял. Преподавал в консерватории и играл в кирхе.

Мать его была русской — Анна Павловна Москалева. Очень красивая женщина каренинского типа — полноватая, с

грациозными движениями. Была абсолютно рыжей. Когда ее спрашивали, чем она красит волосы, Анна Павловна подзывала Славу, и он выбегал «красненький, как апельсинчик».

Если отец был от него, может быть, несколько далек, то мать была для Славы всем. Она очень хорошо готовила и замечательно шила. Семья в основном и жила на деньги, которые своим мастерством зарабатывала Анна Павловна. Утром она шила, днем убиралась и готовила, а вечером снимала халат, надевала платье, причесывалась и принимала гостей.

Среди друзей дома был некий Сергей Дмитриевич Кондратьев. Это был человек, внешне очень похожий на Ленина. Инвалид, который мог передвигаться только по квартире. Обеды ему приносила Анна Павловна. Кондратьев был музыкантом-теоретиком и занимался с Рихтером. Слава рассказывал, что этого человека, давшего ему очень много в смысле теории музыки, он не выносил.

Славу раздражала его слащавость. Кондратьев, например, писал Свете в Москву: «Дорогой Славонька! Сейчас у нас зимушка-зима, морозушко постукивает своей ледяной палочкой. Уж до чего хороша русская зимушка, разве сравнишь ее с заморской!»

23 июня 1941 года Слава должен был лететь в Одессу. Из-за того, что началась война, все рейсы были отменены. Но несколько писем от матери Светик получить успел. Анна Павловна писала, что у папы все нормально, а она ходит к Сергею Дмитриевичу и думает перевезти его к ним, так как передвигаться по Одессе с каждым днем становится все сложнее. Светик восхищался мамой: «Она по 20 км проходит, чтобы ухаживать за больным».

Потом Одессу захватили немцы, и переписка прекратилась.

Все это время Светик рассказывал о маме, мечтал, как она приедет к нему в гости. Когда мы готовили картофельные очистки — другой еды не было, — он говорил: «Вкусно получается. Но мама приедет и научит вас готовить еще вкуснее».

* * *

Хотя время было голодное, когда Светик возвращался с выступлений на фронте, то каждый раз привозил консервы, и мы устраивали настоящие пиршества. Соседи удивлялись тому, что у нас происходит: раздаются крики «Бей! Режь!» А это Светик кричал: «Пей! Ешь!»

Мало того, Светик как-то воскликнул: «Как скучно мы живем!» — и предложил устроить домашний спектакль.

Мы разыграли с ним сцену из «Войны и мира», в которой Пьер Безухов узнает, что Элен ему неверна и в гневе бросает в нее чем-то тяжелым. Я играла Элен. После представления Светик похвалил меня: «Как здорово у тебя получилось! Ты так естественно пригнулась». А что мне оставалось делать, когда у меня над головой просвистела огромная партитура Вагнера!

Потом Светик стал раздумывать, как обыграть «Времена года» Чайковского. Выбрав «Подснежник», попросил дать ему белую простыню. А когда ему отказали — война же, не до стирок — и дали уже пожелтевшую, он не расстроился: «Ну и ладно, пусть будет как будто мартовский снег».

Мы каждый день ждали, что его могут арестовать и до пяти утра не ложились спать и читали. Ведь узнать его новый адрес НКВД не составило бы никакого труда. Но, наверное, им было не до этого или просто лень. А мы за это время успели столько прочесть — и Шекспира, и Ибсена, и Мольера.

Все эти годы Светик жил надеждой встречи с родителями.

Мама была для него всем. «Я только скажу, а мама уже смеется. Я только подумаю, а мама уже улыбается», — говорил он.

Анна Павловна была ему и подругой, и советчиком, и основой нравственности.

До войны она приезжала в Москву и обворожила нас всех — и молодых, и взрослых. Мы все стали писать ей письма.

Одна из знакомых девушек Славы написала Анне Павловне, что Рихтер не вернул ей книгу. И добавила, что, наверное, «все таланты таковы». Анна Павловна тут же прислала сыну письмо: «Как стыдно тебе будет, если тебя станут ценить только как талант. Человек и талант — разные вещи. И негодяй может быть талантлив».

Вот такими у них были отношения.

Неудивительно, что мы все находились под обаянием ожидания встречи с Анной Павловной.

Когда Одессу освободили, туда поехал знакомый Светика, инженер по профессии, который должен был оценить состояние города. Через него Светик передал матери письмо, мы тоже написали ей.

Это было в апреле. Святослав уехал на гастроли, а мы ждали возвращения этого знакомого инженера. Уже прошел срок, когда он должен был вернуться, а у нас мужчина так и не появился. Тогда я сама поехала к нему за город. Отыскала его дом, вижу, он на огороде что-то делает. И такое у меня появилось предчувствие, что лучше бы мне к нему не подходить. Но я отогнала эти мысли. «Плохие новости, — встретил меня мужчина. — Отца Светика

расстреляли. А Анна Павловна, выйдя замуж за Кондратьева, ушла с немцами».

Оказалось, что этот Кондратьев был до революции большим человеком и его настоящая фамилия чуть ли не Бенкендорф. В 1918 году при помощи дирижера Большого театра Голованова и его жены певицы Неждановой ему удалось поменять паспорт и стать Кондратьевым. Больше двадцати лет он притворялся инвалидом. А мать, которой так восхищался Светик, имела с ним роман. И в конце концов даже перевезла его к себе. Получилось, что ходила Анна Павловна не к больному товарищу, а к возлюбленному. И предала и мужа, и сына. Она ведь отдала мужа на смерть. Светик рассказывал: «Это не доказано, но говорят, что сам Кондратьев на отца и донес».

За неделю перед сдачей Одессы родителям Рихтера предложили эвакуироваться. Но поскольку Кондратьева с ними не брали, Анна Павловна уезжать отказалась. Тем самым подписав мужу смертный приговор. Если немец Рихтер не хочет уезжать накануне сдачи Одессы, вывод напрашивался один: он ждет фашистов. Отца Святослава арестовали, погрузили с другими одесскими немцами на баржу и утопили в море.

«Папе и маме предложили эвакуироваться, — рассказывал потом Светик. — Но Кондратьева не брали. И мама отказалась. Я думаю, что папа все понял».

Когда в город вошли немцы, Кондратьев обнародовал, кто он на самом деле. Более того, женился на Анне Павловне и взял ее фамилию. Когда много лет спустя Светик приехал к матери в Германию и увидел на дверной дощечке надпись «С. Рихтер», ему стало дурно. «Я не мог понять, при чем здесь я, — рассказывал он мне. — И только потом догадался, что „С“ — это „Сергей“».

Светику за границей часто говорили: «Мы видели вашего отца». Он отвечал: «Мой отец был расстрелян». Вот так…

По дороге из Тбилиси, где он гастролировал, Светик остановился в Киеве у своей знакомой, жены знаменитого глазного врача Филатова, и она ему все рассказала о судьбе родителей.

Она была ближайшим другом его отца. Сперанская ее фамилия. «Я не могла себе представить, чтобы человек на моих глазах мог так измениться, — вспоминала она потом. — Он начал таять, похудел, рухнул на диван и зарыдал. Я всю ночь просидела с ним».

Когда мы с сестрой встречали Славу на вокзале, у него было абсолютно больное лицо. Он вышел из вагона, словно выпал, и сказал: «Випа, я все знаю».

До 1960-го года эту тему мы не трогали…

В итоге долгих разговоров мы со Светиком решили, что все дело было в гипнозе. Ведь у Анны Павловны произошло полное изменение личности.

То, что на нее мог подействовать гипноз, говорит один эпизод. Она сама рассказывала мне, как молоденькой девушкой из Житомира, где тогда жила, поехала навестить в соседний городок свою подругу. Во время обратного пути в купе напротив нее сидел молодой человек, интеллигентный, с интересным лицом, обычно одетый, средних лет. И пристально на нее смотрел.

«И вдруг я поняла, — говорила Анна Павловна, — что он мне дает какие-то указания. Поезд замедлил ход, мы подъезжали к станции перед Житомиром. Мужчина встал с места, и я тоже встала и пошла за ним. Я чувствовала, что просто не могу не идти. Мы вышли в тамбур. И в это время из соседнего купе появилась моя приятельница и обратилась ко мне: „Аня, ты с ума сошла! Житомир же следующая станция!“ Я повернулась в ее сторону, а этот человек как в воздухе растаял, и больше я его не видела. Поезд тем временем отправился дальше».

Потом, когда после всего произошедшего мы с сестрой были в Одессе, то встретились с подругой Анны Павловны. «Она всю войну ждала Светика, — рассказала нам эта женщина. — Но когда немцы уходили, она пришла ко мне с маленьким чемоданом, совершенно бледная, глядела куда-то вдаль и говорила: „Я ухожу“.»

Подруга пыталась ее образумить, но Анна Павловна стояла на своем: «Я ухожу».

* * *

Его долгое время не выпускали за границу. В качестве пробной поездки отправили в Китай, где он играл перед Мао Цзэдуном. Светик потом рассказывал, что Мао при встрече улыбнулся ему и затарабанил пальцами в воздухе, желая показать, как Рихтер играет на рояле.

Потом усилиями многих людей, в частности Любови Орловой (Светик считал, что именно она уберегла его от ареста, она ведь была довольно влиятельной персоной), его наконец стали выпускать за границу.

Орлова, которая училась музыке у отца Рихтера, сама была хорошей пианисткой. Она потом не раз появлялась в жизни Светика. Так, Любовь Петровна смогла уговорить его сыграть роль Листа в фильме «Композитор Глинка». Хотя сам Светик

очень этого не хотел.

У него были хорошие отношения с Любовью Петровной. Она ведь была связана с органами. Это просто подразумевалось, что, как человек, постоянно ездивший за границу, она имела определенные обязанности перед КГБ. Но использовала их для того, чтобы помогать друзьям. Например, Рихтеру выехать на заграничные гастроли.

Министр культуры Фурцева тогда спросила его: «А вы вернетесь?» Рихтер ответил: «Конечно!»

Тогда же он впервые увиделся с матерью. Их встреча произошла на официальном банкете после концерта Рихтера. До этого Анне Павловне предлагали самой приехать в Россию, но она не захотела.

* * *

В октябре 1962 года в американском журнале «Хай Фиделити» появилась статья Пола Мура, ставшего свидетелем встречи Рихтера с матерью.

Через два с лишним десятка лет в переводе Л. Каневского ее перепечатает журнал «Музыкальная жизнь», экземпляр которого мне передала Вера Ивановна.

Так получилось, что именно Мур, в 1958 году первый написавший в западной прессе о Рихтере, сделал все, чтобы эта встреча состоялась. Узнав, что в небольшом немецком городке Швебишгмюнд живет некая фрау Рихтер, которая называет себя матерью пианиста, он немедленно сел в машину и отправился к ней. До этого во всех разговорах сам Рихтер на вопросы о родителях отвечал, что «они умерли». А потому иностранному журналисту и музыковеду захотелось самому разобраться, что же это за фрау Рихтер.

Разыскав небольшой двухэтажный дом, одну из квартир в котором занимала та самая дама с мужем, Мур приготовился объяснить, кто он и зачем приехал. Но едва он появился на пороге, как хозяйка сама узнала его.

«Мое недоумение прояснилось, — вспоминал Пол Мур, — когда она сообщила мне, что родственница, живущая в Америке, прислала ей октябрьский номер „Хай Фиделити“ за 1958 год, в котором была помещена моя статья о Рихтере. Фрау сказала: „С тех пор, как мы ее увидели, мы все время молились о встрече с вами. У нас не было никаких контактов со Славой с 1941 года, так что даже возможность повидать кого-то, кто видел его самого, для нас была настоящая сенсация“».

Анна Павловна — а это, конечно, была именно она — рассказала американцу и об обстоятельствах своего отъезда из Советского Союза: «Отца Славы арестовали вместе с примерно шестью тысячами других одесситов, носивших немецкие фамилии. Таков был приказ, полученный от Берии. Мой муж ничего предосудительного не совершал, ничего. Он был просто музыкантом, я тоже; большинство наших предков и родственников были либо музыкантами, либо артистами, и мы никода не занимались политической деятельностью. Единственное, в чем его могли обвинить — в давнем 1927 году он давал уроки музыки в Немецком консульстве в Одессе. Но при Сталине и Берии этого было вполне достаточно, чтобы его арестовать и посадить в тюрьму. Потом они его убили.

Когда войска „оси“ дошли до Одессы, то город был оккупирован в основном румынами; потом они начали отступать, мы с моим вторым мужем ушли вместе с ними.

Увезти с собой многое было невозможно, но я захватила все, что смогла, связанное с воспоминаниями о Славе. Покинув Одессу, мы жили в Румынии, в Венгрии, потом в Польше, затем в Германии».

Та встреча Мура с Анной Павловной продолжалась недолго. «Фрау Рихтер в основном пыталась выудить из меня любые, самые незначительные новости о Славе, или, как она иногда называла его, Светике, что в переводе означает „маленький свет“. Тогда же Анна Павловна передала через журналиста короткую записку для сына, которая начиналась со слов „Mein uber alles Geliebter!“ (Мой самый возлюбленный) и заканчивалось „Deine Dich liebende Anna“ (Любящая тебя Анна)».

Через общую знакомую Пол Мур сумел переслать записку Рихтеру в Москву.

Первая встреча пианиста с матерью состоялась осенью 1960 года в Нью-Йорке, где импресарио Соломон Юрок устроил концерт Рихтера. Анна Павловна потом вспоминала, что ей так долго пришлось доказывать Юроку, кем она приходится Рихтеру, что она почувствовала себя на допросе в полиции. Тогда же Рихтеру задали вопрос, собирается ли он добиваться реабилитации отца. На что Рихтер ответил: «Как можно реабилитировать невинного человека?»

После той первой встречи Анну Павловну от имени советского министра культуры Фурцевой пригласили в Москву — в гости или насовсем. Но женщина отказалась.

И, в свою очередь, пригласила в гости сына. Этот визит стал возможен через два года.

Пол Мур оставил детальные воспоминания о той встрече, при

которой он также присутствовал. «Скромная двухкомнатная квартирка, по сути дела, оказалась музеем Святослава Рихтера. Все стены были покрыты его фотографиями с детства и до зрелых лет. На одной из них он был изображен загримированным под Ференца Листа, роль которого ему довелось однажды сыграть в советском фильме о Михаиле Глинке. Тут же висели цветные акварели домов Рихтеров в Житомире и Одессе, а также угла в одесском доме, где стояла его кровать.

Один из снимков юного Славы в шестнадцатилетнем возрасте доказывает, что в молодости, до того как стали постепенно исчезать его белокурые волосы, он был поистине поразительно красив.

Хозяйка дома рассказала, что в ее сыне смешана русская, польская, немецкая, шведская и венгерская кровь…

Фрау Рихтер провела сына по квартире и показала ему те картины, которые ей довелось спасти из их старого гнезда в Одессе. Рихтер рассеянным взглядом рассматривал карандашный рисунок своего старого дома в Житомире и другого, в Одессе».

Вместе с Рихтером в Германии была и Нина Львовна. Их поезд прибыл из Парижа. На вокзале Рихтера и Дорлиак встречал Пол Мур. «Супруги прибыли вовремя, везя с собой большой багаж, включавший картонную коробку, в которой, как с усмешкой объяснила Нина Дорлиак, покоился превосходный цилиндр, без которого, как решил Слава, он просто не может появляться в Лондоне (следующем после Германии пункте гастрольного путешествия Рихтера. — *И. О.). С такой же дружелюбной насмешкой Рихтер продемонстрировал длинный круглый пакет, завернутый в коричневую бумагу: по его словам, это был торшер, который Нина была намерена тащить с собой из Лондона до Москвы через Париж, Штутгарт, Вену и Бухарест».*

Оказалось, что в Париже забыли что-то из багажа. «Это услышал Рихтер, но тут же вновь беззаботно повернулся к нам и продолжал, не теряя улыбки на лице, разговор; пришлось Нине самой заняться пропажей и установить, что именно исчезло в пути.

— Конечно, — сказала она, поддаваясь на мгновение раздражению, — я точно помню, где вы это оставили.

— Я оставил? — переспросил Рихтер, и его глаза расширились от негодования.

— Ничего, — сказала Нина успокаивающе. — Можно послать телеграмму…»

Они пробыли в Германии в общей сложности несколько дней.

Накануне отъезда, когда Нина Дорлиак отправилась по магазинам, Рихтер решил купить цветов для пятерых женщин,

которые накануне побывали в гостях в доме его матери. Вместе с ним в цветочный магазин отправился и Пол Мур.

«В том магазине, куда нас послали, оказался необычайно богатый выбор, и Рихтер, хотя уже было поздно, не жалел времени для обдумывания решения. Он действовал по такому методу: восстанавливал в памяти образ каждой из женщин в отдельности, концентрируя все свое внимание на ней, на том впечатлении, которое она произвела на него, а затем совершал соответствующую покупку. В конечном итоге он был удовлетворен своими покупками — цветы заполнили громадную картонку размером чуть ли не в гроб.

А особое удовольствие, судя по всему, ему доставляло одно, пойманное им вдохновение: для той латышской женщины, которую он впервые увидел босой, работавшей в поте лица, он купил ветку нежных орхидей.

Когда мы вернулись домой, с превеликим трудом удалось убедить его, что не остается времени, чтобы самому, лично преподнести букеты. Он абсолютно серьезно попросил мать объяснить дамам, что такое нарушение этикета произошло с его стороны отнюдь не намеренно…»

Тот же Пол Мур вспоминал, как во время обратной дороги на вокзал, откуда Рихтер и Дорлиак должны были ехать в Лондон, вел себя «муж фрау Рихтер»: «Он нервно посмеивался и болтал без умолку всю дорогу. Вдруг он неожиданно спросил: „Светик, в твоем паспорте все еще значится, что ты немец?“ Рихтер немного настороженно, словно не зная, к чему тот клонит, ответил: „Да“. „О-о, это хорошо! —рассмеялся довольный старик. —Но в следующий раз, когда ты приедешь в Германию, у тебя должно быть непременно немецкое имя, к примеру Хельмут, или что-нибудь в этом роде“. Рихтер снисходительно улыбнулся, но, обменявшись втихомолку взглядами с женой, решительно произнес: „Имя Святослав меня вполне устраивает“.

На вокзале, пока ждали поезд, все решили выпить чаю с пирожными. Сели за стол, сделали заказ. Но Рихтер в последний момент передумал пить чай и отправился побродить по городу. На платформе он появился одновременно с поездом.

Потом фрау Рихтер пыталась внушить сыну, как важно для нее получать от него весточки. Но я сомневался в эффективности ее просьб: Нина как-то сказала мне со смехом, что за все эти годы, что они знают друг друга, Слава посылал ей множество телеграмм, но никогда не писал ни одного письма, даже открытки».

О чем был самый последний разговор матери с сыном, Пол Мур не знает, так как нарочно оставил их наедине. Он подошел к фрау

Рихтер, лишь когда состав тронулся. «Фрау Рихтер, печально улыбаясь, прошептала как бы про себя: „Ну вот, кончился мой сон“».

* * *

Когда Светик вернулся и я спросила его, как прошла встреча, он ответил: «Мамы нет, вместо нее маска».

Я попыталась расспросить его о подробностях, ведь прошло столько лет. «Кондратьев не оставлял нас ни на минуту, — сказал Слава. — А вместо мамы — маска. Мы ни на одно мгновение не остались наедине. Но я и не хотел. Мы поцеловались, и все».

Нина Дорлиак тогда тоже была с ним и пыталась отвлечь мужа Анны Павловны, придумывая всякие уловки, например, прося показать дом. Но тот не поддался.

После этого Светик еще несколько раз выезжал в Германию. Газеты писали: «Рихтер едет к матери». Все выглядело очень мило. Но говорили они только об искусстве.

Когда Анна Павловна тяжело заболела, Рихтер все заработанные на гастролях деньги потратил на ее лечение. Его отказ сдать гонорар государству вызвал тогда большой скандал.

О смерти матери он узнал от Кондратьева за несколько минут до начала своего концерта в Вене. Это было его единственное неудачное выступление. «Конец легенды», — писали на следующий день газеты. Ездил он и на похороны.

Мне он прислал открытку: «Випа, ты знаешь нашу новость. Но ты также знаешь, что для меня мама умерла давно. Может, я бесчувственный. Приеду, поговорим…»

Предательство матери стало для него крушением веры в людей, в возможность иметь свой дом. Эта страшная трагедия стала для него словно капсулой, в которой он прожил всю жизнь. «У меня не может быть семьи, только искусство», — говорил он.

В искусство он ушел, как в монастырь.

А еще у него начался культ отца. Он собирал его фото, письма…

* * *

Рихтер был удивительно неприхотливым человеком. Любил бывать за границей, ходил там в самые изысканные рестораны. Но, приходя ко мне, просил пожарить ему картошки.

Стричь его могла только виолончелистка Наташа Гутман,

которую он обожал. Как и ее мужа, скрипача Олега Когана.

* * *

Произнеся эти слова, Вера Ивановна предложила позвонить Гутман. Часы показывали третий час ночи. Но Гутман звонку Веры Ивановны обрадовалась. Они разговаривали по громкой связи.

«Мы сейчас вспоминаем Славу. И я говорила о тебе, — сказала Вера Ивановна. — Пьем за твое здоровье, Наташенька». И, коснувшись рюмкой с водкой микрофона на телефоне, моя собеседница осушила ее до дна.

Мы тоже чокнулись. И продолжили разговор.

* * *

Светику легко давалось то, что нам было трудно. Как-то мы прошли пешком много километров до древнего монастыря. Подойдя к его стенам, буквально свалились от усталости. А Светик тут же пошел осматривать монастырь.

Увлекался живописью. Фальк говорил, что если бы Рихтер посвятил свою жизнь этому, то из него вышел бы большой художник.

Рихтер обожал животных. Когда ему предлагали сесть в кресло, на котором спала кошка, Светик отказывался. «Нет, ее же будить придется. Я лучше где-нибудь в другом месте сяду».

Нашу собаку Альму любил так, что мог с ней есть пельмени из одной тарелки.

Когда он был еще совсем маленьким, то говорил дяде: «Я тебя не люблю. Ты плохой, потому что на охоту ходишь, зверей убиваешь. А они же наши братья».

А как-то пришел ко мне очень расстроенным, на нем лица не было. «Знаешь, — говорит. — Мне рассказали, что режиссер Тарковский на съемках сжег живую корову.

Я его ненавижу. Тот, кто может совершить такой зверский поступок, — не человек. Если он не смог иначе выразить то, что хотел, значит, ему не хватило таланта. Я больше не желаю даже слышать его имени».

У него была какая-то внутренняя связь, единение с природой. Будь то человек, листок с дерева, огонь. Он никогда ничего не боялся. Мы раньше устраивали дома елки и украшали их ватой, это была его идея. И однажды вата загорелась. Мы растерялись, а Светик одной рукой (у него были широкие ладони) р-раз и

погасил огонь. «Ты же мог обжечься», — испугались мы. «Нет, — отвечает. — Если сразу берешь огонь, никогда не обожжешься».

* * *

Мы с ним сидели у него на даче на Николиной Горе за шесть дней до его кончины. Он верил в будущее, говорил, что через год начнет играть… Неожиданно Светик поднял голову и проследил взглядом за взлетевшей с ветки птицей. «Знаешь, почему она так встрепенулась? — спросил он у меня. — Она заметила кошку. Вон, видишь, та крадется по забору? Но уже поздно, птица вне опасности. Молодец! Я за нее очень рад!»

По дороге в дом мы увидели мертвого голубя. «Випа, давай его похороним», — предложил Светик. Мы вырыли ямку, закопали голубя и только после этого пошли домой…

Да, я его видела за шесть дней до смерти.

Он вспоминал третью ночь фашистской бомбежки, когда мы на крыше нейгаузовского дома тушили немецкие зажигалки. Рихтера тогда очень потрясли перекрещивающиеся в небе лучи прожекторов, выискивающих самолеты. «Это как Вагнер, — говорил он. — „Гибель Богов“».

Вспоминал Звенигород, в котором придумал проводить свой фестиваль. Говорил: «Знаешь, Випа, меня, наверное, опять повезут на море. Мне нужен еще один год, прежде чем я начну играть. Я понемножку уже играю».

Тогда он не играл из-за депрессии. Переживал свою полную оторванность от родной земли, от друзей. Говорят, он же был во Франции, на море, которое любил. Да, любил. Но три месяца сидеть и только смотреть на море…

А спорить с Ниной Дорлиак он не мог…

* * *

Союз с Ниной Львовной не стал для него выходом из постигшего его несчастья. Даже по словам ее подруг, она была человеком глубоко подозрительным, болезненно относящимся к жизни.

Она была значительно старше Рихтера. Они с Рихтером до конца дней говорили друг с другом на «вы».

Нина обожала, причем болезненно, только своего брата и племянника Митюлю. Этот Митюля был ее главной болью. Она переживала, что тот неудачный актер. «Слава, вам повезло, —

говорила она Рихтеру. — А вот мальчик бедный, ему не повезло».

Светик рассказывал мне, как после удачного концерта, который он дал, к нему явился этот самый Митюля и заявил: «Вы — бездарность! Думаете, это очень сложно? — и забарабанил пальцами по столу. — А я, — продолжал он, — последний Дорлиак!»

Я спросила, не был ли тот пьян (эта пагубная страсть сгубила отца Мити и передалась по наследству и ему). «То-то и оно, что в этот раз он был абсолютно трезв, — ответил Рихтер. — На что я ему медленно ответил: „Волга впадает в Каспийское море. Вы — последний Дорлиак, а я — полная бездарность. Все правильно, Волга впадает в Каспийское море“».

Рядом сидела Нина и умоляла племянника замолчать, но он все не мог остановиться со своими обвинениями и претензиями.

Чего она только не делала для этого Мити, пользуясь именем Святослава! Все подчинено было Митюле!

Сейчас он — наследник Рихтера. Нина все сделала для этого. Митюля был жертвой страстной и безумной любви Нины Львовны. Она очень любила своего брата, актера театра им. Вахтангова. Тот был красивым человеком, но особым талантом не выделялся. На гастролях заболел брюшным тифом. И когда начал выздоравливать, попросил принести ему водку с селедкой. Что и сделал его товарищ, который лично мне об этом рассказал.

Выпив, Дорлиак умер. Митюле тогда было года три. После смерти брата Нина целиком взяла племянника на себя.

У Митюли было чувство абсолютной вседозволенности, лет с 15 он уже выпивал. При этом у него было чувство юмора, способности к языкам. Я же с ним занималась английским. И он показал себя очень способным. Когда я сказала об этом Светику, он ответил: «Вот увидишь, долго он не продержится». И точно, после двух занятий молодой человек ко мне больше не пришел.

Митюля верил, что он — непонятый талант. Хотя идиотом не был, у него была какая-то живость ума. Когда после одного из домашних концертов кто-то из поклонников Светика бросился перед ним на колени, чего он терпеть не мог, Митюля произнес: «Сюда бы сейчас брандсбойт».

Все в доме делалось только ради него.

В один из дней Нина Львовна уговорила Светика пригласить композитора Дмитрия Шостаковича. Поводом стал домашний спектакль, который устраивала Нина Львовна. Ее обожаемый Митюля должен был играть одну из ролей в пьесе английского драматурга. Причем все другие занятые актеры выучили свои роли, а Мите, видно, было лень, и он читал свою роль по бумажке.

Шостаковича пригласили для того, чтобы он, как влиятельный человек, смог замолвить при случае о Митюле словечко. Нина надеялась, что Дмитрий Дмитриевич скажет, какой Митюля гениальный актер.

Шостакович пришел со своей молодой женой. Всего гостей было человек двадцать. Мы посмотрели спектакль, выпили чай и разошлись. Никаких ожидаемых последствий для карьеры Митюли тот спектакль не имел.

От Шостаковича у меня осталось непростое впечатление. У него были какие-то белые, как мне показалось, глаза. И еще он очень суетился. Да, у меня от него осталось какое-то не светлое ощущение, как будто он все время чего-то боялся.

* * *

Подруга Нины Львовны говорила мне, что Дорлиак была глубоко несчастна. Но она ведь и Рихтера не сделала счастливым. Все время мерялась с ним талантом.

Раздражалась, что Слава мог радоваться жизни, людям, молодежи.

Возмущалась, как Рихтер мог отвечать на все письма, которые получал.

— Как вы можете писать всем этим ничтожным людям! — говорила она.

— Почему «ничтожным»? — удивлялся Светик. — Для меня все люди одинаковы.

* * *

Как они познакомились с Ниной Львовной? Это была заслуга матери Дорлиак. Та преподавала в консерватории и однажды подошла к Славе с просьбой сделать «ансамбль с Ниной».

На тот момент Рихтер уже начал выступать, Нина тоже пела со сцены какие-то шлягеры. Но голоса особого у нее никогда не было. Нина сама мне говорила: «Мама сделала чудеса с моим голосом, она вытащила из меня все, что можно». При этом, конечно, нельзя у нее отнять того, что она была художественно образована. И в итоге Рихтеру стало интересно с ней играть. Помню, они поехали в Тбилиси и имели там успех.

И потом Дорлиак решила, что со Святославом стоит иметь дело.

Все деньги были в ее руках. Она говорила, что Слава ничего в

финансах не понимает. И если он потом хотел кому-то помочь, например Елене Сергеевне Булгаковой, у которой было тяжелое положение, то был вынужден занимать…

Я на Нину смотрела снизу вверх, она же была намного старше Славы. Она казалась нам сказочной принцессой, не от мира сего, нежная, хрупкая, косы вокруг головы.

А меня часто принимали за сестру Славы, я ходила за него в филармонию карточки получать. И мне там стали говорить: «Вы плохо за братом смотрите, на него Дорлиак нацелилась». Я отвечала: «Бог с вами, она из другого мира». Абсолютно не верила. И мои подруги тоже не верили. Когда вам 20 лет, а женщине 30, она для вас человек из другого мира.

Со мной она была мила. А потом…

Как-то я поговорила с Мариной Тимофеевной, которая руководила концертным отделом. Спросила у нее, что за разговоры ходят о Нине и Славе, ведь она же старше. «Вера, вы очень ошибаетесь. Дорлиак — железный человек, и если она нацелилась, так и будет», — сказала мне эта мудрая женщина.

Я Славу никогда не расспрашивала о начале его отношений с Ниной… Наверное, вначале был какой-то романтический момент в их выступлениях. Но потом разница во взглядах на жизнь стала критической. И только ее слезы и уверения в том, что она умрет, если Слава уйдет, держали его возле нее. При этом она на него всегда смотрела сверху вниз.

Так что неудивительно, что у него случались периоды депрессий. Но он был настолько одаренной натурой, что использовал всякий повод для радости…

Уйти от Дорлиак он не мог.

Почему он ее терпел?

А почему он хорошо играл на рояле? Потому что это был Рихтер.

Он был человеком, который ненавидел слезы. Говорил мне: «Я не могу видеть, как женщина унижается».

Он пытался прятаться у друзей, но Нина его разыскивала и начинала «умирать».

Нина Львовна была болезненным человеком, чуть что, у нее начинались истерики и даже туберкулез. Этого Светик выносить не мог. Ему было проще мириться с тем, что она рядом.

А в идеальную семью Рихтер после предательства матери уже и не верил.

Впрочем, официально они не были мужем и женой. Когда незадолго до кончины Светика Дорлиак предложила ему оформить отношения, он ответил, что не видит в этом смысла. Он понимал, что все это делалось только для того, чтобы сделать

Митюлю официальным наследником. Рихтер потому и коллекцию своих картин передал в Пушкинский музей и попросил меня отнести Ирине Антоновой, директору музея, письмо, в котором завещал все картины музею личных коллекций. Только попросил сделать это в тайне от Нины Львовны, так как понимал, что ее истерики он не выдержит и будет вынужден забрать картины обратно.

А Митюля словно чувствовал это и то и дело требовал, чтобы картины вернулись домой. Официально Рихтер отдал их Пушкинскому только на выставку. «Выставка давно кончилась, почему вы не приносите картины?» — напоминал он Рихтеру. «Он тут же начнет продавать их», — сказал мне Светик.

И передал для Антоновой два письма, которые я и отнесла. В первом было поздравление с Новым годом, а во втором — дарственная на коллекцию картин. Я попросила Антонову сделать так, чтобы об этом не узнала Дорлиак. «Я все понимаю, — ответила Ирина Алексеевна. Открыла сейф, положила туда конверт. — До определенного дня об этом никто не узнает».

Услышав ее «до определенного дня», я вздрогнула, так как поняла, что она имеет в виду…

* * *

У меня с Дорлиак отношения были поначалу самые добрые.

Когда она после войны появилась в нашем доме на улице Фурманова, где жил Светик, она мне очень понравилась. Своей дореволюционной красотой. Нина Львовна была намного старше Рихтера, и я относилась к ней с большим почтением.

Светик считался, да не только считался, но и был членом нашей семьи. Говорили даже, что мы внешне были с ним похожи, все думали, что мы брат и сестра. Нина Львовна удивлялась: «Почему все так думают? Я лично никакого сходства не нахожу!» А Светик с легкостью получал продовольственные карточки на нашу семью.

Как-то Нина Львовна попросила меня уговорить Светика поехать вместе с ней в круиз на теплоходе. Поездка была бесплатной, с полным пансионом, что в послевоенные годы было большой удачей. А Светик, словно предчувствуя что-то, категорически не хотел ехать.

Вечером накануне отплытия теплохода у меня зазвонил телефон. «Вы не знаете, где Святослав? — почти кричала в трубку Дорлиак. — Нам завтра в шесть утра надо быть на Речном вокзале, а я не могу его нигде разыскать».

Я тоже встревожилась.

И вскоре узнала, где находится Рихтер. Оказалось, он был у своих лучших друзей на Клязьме и категорически не хотел вновь встречаться с Дорлиак. Но мне удалось переубедить Святослава. И почти за руку привести его в дом Дорлиак на Арбате, где она тогда жила.

Из круиза Святослав вернулся уже другим человеком. Получается, я сама отвела его к Дорлиак.

Но я никогда не жалела о том, что не стала женой Рихтера. В те времена девушки вообще не ставили себе цель как можно быстрее выйти замуж. Хотя моя мама, которая обожала Светика и которую он тоже очень любил, наверное, была бы счастлива. Но…

Мне было жалко Святослава. Ну какая бы из меня была жена? Я же совершенно антихозяйственный человек, идеал наоборот. Какую бы жизнь я смогла ему предложить? Тем более что мы остались друзьями, очень близкими людьми. У нас не было друг от друга никаких секретов, мы говорили обо всем. У нас было абсолютное доверие.

Как-то в разговоре с Ниной Львовной он произнес: «Випа сказала…» И Нина взорвалась: «Конечно, если Випа сказала, то только это и правда!»

Он мне много писал отовсюду, где бывал. Как-то из Франции прислал открытку. Пишет, что гулял по какой-то сельской дороге и зашел в кабачок, где было так же весело, как «в наши фурмановские дни».

Я потом спросила его, разве весело нам было в комнате на Фурманова, ведь мы там постоянно ждали его ареста. А Светик ответил: «А мы были так дружны, что об этом просто не думали…»

Первое время после возвращения из того круиза Рихтер еще приходил ночевать к нам. А потом перестал.

«Все правильно, — сказала я ему. — Ты же женился».

На что он резко ответил: «Я никогда на ней не женюсь».

Вообще, вторая половина, которую выбирает себе человек, — это очень важно. Вот только выбирает ли?..

* * *

Наверное, поначалу Нина Львовна видела во мне соперницу и сделала попытку поссорить нас со Славой.

Как-то 8 марта мы решили устроить «марсельский кабачок». В этот день наши соседи как раз уезжали в деревню, и вся квартира оказывалась в нашем распоряжении. В такие дни мы украшали

комнаты и устраивали праздник.

Оказалось, что 8 марта — день смерти матери Нины. И она решила, что я нарочно выбрала этот день для веселья, и сказала об этом Светику. Причем говорила об этом с полной уверенностью, так как якобы узнала о моих коварных планах от нашей общей знакомой, жены одного талантливого виолончелиста.

Когда я встретила эту женщину, то спросила у нее, за что она меня так ненавидит, если распускает обо мне такие гнусные слухи. Она с недоумением посмотрела на меня: «Вы знаете, как я люблю своего мужа? Так вот пусть он на месте умрет, если то, что вы говорите, правда. Клянусь его головой, что это не так».

Я поверила ей и обо всем рассказала Светику. Тот передал это Нине Львовне, а она только поморщилась в ответ: «Слава, я больше не хочу касаться этой истории».

Потом, когда она поняла, что я не представляю для нее никакой угрозы, у нас с ней сложились ровные отношения. Иногда она звонила, когда Рихтер был на гастролях, и говорила: «Напишите Славе письмо, он просит». Мы ведь с ним постоянно переписывались…

Нина Львовна пережила Славу на один год.

У нее давно был рак. Но мы знали, что она сделает все, чтобы пережить Рихтера. Ей ведь надо было успеть передать все своему Митюле.

И она это сделала…

* * *

Почему умер Рихтер?

Здесь много причин. У него были проблемы с сердцем. А лечение, которое за границей проводила Нина Львовна, было неудачным.

Неугодный врач не допускался к Рихтеру. Академик Воробьев потом говорил, что не может понять, как могли упустить прединфарктное состояние Рихтера…

Тут Нина… В ней было странное сочетание железного характера с разбросанностью: когда лекарства дать, какому врачу позвонить. Какая-то российская небрежность. Как Наташа с ужасом говорила: «Она горстями давала ему какие-то лекарства». И, конечно, сам инфаркт пропустили.

Лечиться Светик не любил. Смерти не боялся абсолютно. В нем до конца была жажда жизни.

У него был высокий уровень сахара в крови. Ему нужна была

строгая медицинская дисциплина, а Нина на это не обращала внимание…

* * *

На Николиной Горе у него была старая, кажется, еще дореволюционной постройки дача с запущенным садиком. Мы с ним там долго сидели за неделю до его смерти.

Хорошая погода такая была.

Он расспрашивал меня про всех наших общих знакомых. Строил планы на будущее — в этом сезоне, говорил, еще не буду играть, а вот со следующего начну. Ему так хотелось заниматься.

А в фильме, который был снят в последний год его жизни, он предстает таким унылым старым человеком. Его жизнерадостность и любовь к людям совсем не отражены.

Да ведь и фильм-то был снят обманом…

* * *

Вера Ивановна говорила о фильме французского режиссера Брюно Монсенжана «Рихтер непокоренный».

Счастье француза состоит в том, что Рихтер впервые согласился не просто дать интервью, чего он и так крайне не любил, а сделал это перед телекамерой.

Первоначально Монсенжан должен был писать биографию Рихтера. «Я видел рихтеровское лицо, слушал его сногсшибательные откровения и вынужден был ограничиваться только магнитофоном — это была пытка, пытка, — вспоминал Монсенжан. — Нина Дорлиак считала, что фильм о Рихтере необходим, но что я должен снимать скрытой камерой. Я сказал: „Это невозможно. Он должен быть в курсе, если он обнаружит камеру где-то за стеной — это же предательство“. И я ждал.»

В сентябре 1995 года он был очень мрачным, депрессивным. У него это, знаете, шло циклами. Наконец к концу октября что-то поменялось. В какой-то момент он спросил: «Может быть, то, что я говорю, не очень интересно?» И тут я, как охотник, поймал его: «Что вы! А еще интереснее, если бы с камерой». И, знаете, он ответил: «…Но, может быть, потом?» То есть он не сказал «нет». К сожалению, вошла Нина Дорлиак и начала настаивать на идее фильма. Он отреагировал как зверь: «Нет, не хочу!»

Во время работы над фильмом Брюно стал свидетелем того, как складывались взаимоотношения между Рихтером и Дорлиак.

Нарочно или нет, он рядом смонтировал в фильме высказывания Рихтера о том, что он играет только три часа в день, и утверждение Дорлиак о том, что он занимался по шесть часов…

Монсенжан признавался, что Рихтер не обращал никакого внимания на то, что перед ним стоит камера. Он просто говорил то, что считал нужным. Фильм монтировался уже после того, как Рихтера не стало. «Дорлиак хотела представить его святым и просила убрать скандальные моменты. Я ничего убирать не стал. Потому что он не был святым. Он был невинным».

В фильме есть его слова про семью: «Когда мама перевезла Кондратьева, я думаю, что папа все понял».

Почему Слава вообще согласился сняться в этом фильме?

Думаю, тут было страшное давление Нины, ей же деньги заплатили. Славе деньги не давали, считалось, что он ничего не понимает в жизни.

Когда Слава не разрешил снимать его за роялем, Нина хотела снять его скрытой камерой. Но этого не допустили Наташа Гутман и Элисо Версаладзе.

А родители этого француза были богатые люди, они пригласили Светика с Ниной в свой дом на побережье Средиземного моря. Там красиво, конечно, но…

У меня есть маленькая фотография, на которой снята маленькая избушка в Тарусе, где Рихтер жил. Он обожал ее и говорил, что ничего лучшего на свете не существует.

* * *

На столике возле кровати Веры Ивановны действительно лежала фотокарточка, на которой был снят небольшой двухэтажный дом, окруженный зарослями рябины.

Но меня больше потрясла не скромность дома. А то, что его изображение находилось возле кровати Веры Ивановны. Словно она часто смотрит на эту фотографию.

А может, так оно и было…

Сам Рихтер обожал этот дом, главными достоинствами которого он называл отсутствие воды и электричества. Нравилось ему и то, что добраться до него можно было, только пройдя несколько километров пешком через лес.

Во время нашей следующей встречи на столе у Веры Ивановны я заметил старую школьную тетрадь, на обложке которой перьевой ручкой было написано: «Для Славы (экземпляр № 1)».

Прохорова, заметив, что я пытаюсь рассмотреть тетрадь, передала ее мне.

* * *

Мы в прошлый раз говорили о домике в Тарусе. Так вот, его строительством занимался Володя Мороз, бывший муж Наташи Гутман. Но вся эта затея закончилась большим скандалом.

Вообще, Мороз был историком музыки.

Володя был большой друг Славы. Очень красивый человек. В него была влюблена Нина Дорлиак, но у самого Мороза был роман с Наташей Гутман. Наташа и стала его женой. На этом браке настоял сам Мороз.

Прожили они, правда, недолго. Но даже этого короткого брака хватило, чтобы Нина Львовна невзлюбила Наташу и наложила запрет на общение с ней. Светик 18 лет не мог ее видеть. Все приходилось делать втайне.

Наташу Гутман Нина простила, лишь когда Светик уже не мог выступать один. А ведь зарабатывал только он…

А отношения с Морозом закончились страшным скандалом.

И победил в нем Митюля.

Володя считал себя учеником Роберта Фалька. И сам Роберт Рафаилович прислушивался к его мнению. Но Мороз был спекулянтом, он вообще авантюрист по характеру. А Светик пытался ему помогать.

И Митюля, видя, что Морозу уделяется много внимания, решил от него избавиться.

Я говорила уже, что Митюля поколачивал Нину, он же пил сильно и под конец потерял все свои человеческие качества. Как-то в очередной раз побил Нину, и она сказала: «Больше не могу, вызывайте милицию».

И Мороз вызвал.

А Нина ведь еще истеричкой была. Она тут же уложила Митюлю в постель, обложила грелками. И когда пришел милиционер, то Мороз еще и оказался виноват.

Кстати, с Владимиром Морозом у Нины Львовны был единственный в жизни роман. Светик знал об этом, но относился совершенно спокойно.

У меня с Володькой были хорошие отношения. Он меня называл так — «Сказительница».

Но я ничего не придумываю. Вы можете сами посмотреть эту тетрадь. В ней Мороз написал все, что случилось из-за строительства дома в Тарусе…

* * *

Я с трепетом раскрыл уже ветхую от времени рукопись. Некоторые слова, выведенные черными чернилами, можно было прочесть с трудом — они расплылись на бумаге, возможно, из-за слез того, кто читал тетрадь тогда, пятьдесят лет назад, когда это было написано, или позднее, перечитывая.

Я тоже почувствовал мурашки на коже: видно было, что все написанное — пережитая правда.

С позволения Веры Ивановны я дословно, сохраняя орфографию автора, приведу здесь содержание тетради, из которой многое становится ясным. Эти записи, как мне показалось, являются своеобразной иллюстрацией всей совместной жизни Святослава Рихтера, Нины Дорлиак и тех, кто заступал на территорию этой странной пары.

И объяснением того, почему все в итоге сложилось именно так, а не иначе…

«Написанное в этой тетради может быть зачеркнуто только сообща троими людьми. Для этого им нужно вместе поднять бокалы и торжественно сказать друг другу что впредь их отношения будут определяться только любовью.

Я буду ждать приглашения на эту встречу до 27 апреля и если оно не последует буду считать что ОТСТАВКА МОЯ ПРИНЯТА.

ДЛЯ СЛАВЫ (экземпляр № 1)

на первой странице (а далее по порядку):

Нине Львовне Дорлиак

Святославу Теофиловичу Рихтеру

Евгении Михайловне Лелиной (в прошлом актриса, в молодости была в близкой дружбе с семьей Дорлиак. — *Ред.)*

Сильвии Федоровне (Нейгауз. — *Ред.)*

6 января 1962 г.

Я отрываю Вас от своих дел и прошу Вас простить меня за это.

Это объяснение — предисловие к передаче дел, связывавших меня со Славой, тому, кто захочет добровольно испытать испытанное мною. Кто это будет — я не знаю. И потому обращаюсь ко всем Вам во-первых: с объяснением, во-вторых: с информацией о положении дел, которые мне выпало вести, в-третьих: с передачей разных документов (квитанций, договоров и прочее).

Прошу читать до конца даже тогда когда будет казаться невозможным.

Я был чуть ли не единственным человеком из окружения Рихтера с которым у него были, главным образом, деловые отношения. Они были связаны с искусством или, во всяком

случае, требовали творческого подхода. В них было мало праздности. Оттого я зову их — деловыми.

С деловых отношений началась наша дружба. Это — выставка Фалька.

Потом было многое: „воспоминания о Прокофьеве“, стройка, посещение мастерских художников и проч. Были всякие мелочи доставлявшие Славе радость: устройство маскарада, кинохроника и пр. Но, всего могло быть больше и все могло быть лучше.

Кончились, как мне кажется, наши деловые отношения — выставкой Краснопевцева.

Почти с самого начала и до 4 января 1962 года Ниной Львовной осуждалось любое совместное начинание. Если Нине Львовне не удавалось его сорвать в начале, тогда по ходу его делалось так что оно теряло свой свет и обрастало пререканиями, обвинениями и прочим: слепым и мелочным.

Больше всего пришлось вытерпеть строительству дома на Оке. Это самое трудное, общее со Славой дело испытало характер Нины Львовны в полной мере.

На отношении к стройке выказалось неприятие Ниной Львовной никакого созидания — будь то дом на Оке или выставка в комнате Рихтера.

Не для хвастовства, а для ясности скажу: тех обязанностей, которые лежали на мне хватило бы разделить на десятерых. Но их было легче выносить чем неизменную роль Нины Львовны. Потому что ЕЕ ЖАЖДЫ РАЗРУШЕНИЯ, ОТРИЦАНИЯ, ОСУЖДЕНИЯ — хватило бы ТАКЖЕ НА ДЕСЯТЕРЫХ.

Нет таких самых худых определений, обозначающих самые ничтожные, низкие качества в человеке, которыми бы я не был обрисован в глаза и за глаза.

(Кстати, Нина Львовна обнародовала свою характеристику В. Мороза с целью опорочить то, что вызывает у нее неудовольствие. Г. С. Козолупова (Еалина Семеновна Козолупова — виолончелистка и педагог, музыкально-общественный деятель, Заслуженный деятель искусств РСФСР. — *Ред.) с легкостью афиширует ее повсюду.)*

Немного назад:

После того как идея стройки на Оке была принята и одобрена всеми нами, т. е. Ниной Львовной, Славой и мною (было такое короткое время!) Нина Львовна стала порочить ее будто это самая гадкая затея. Нина Львовна предала совместную идею, отошла в сторону и стала порочить ее и срамить. „Стройка на Оке“ сделалась идеей жулика и проходимца, на поводу у которого идет святой несмышленыш С. Т. Рихтер.

В этой неприязненности строился и почти построен дом.

Судите сами было ли это легко.

Я спрошу: если даже эта идея была только моей, разве уж она так дурна? Ведь строить, строить дом, а не разрушать!!

И: Разве (пусть идея только моя) я не платил за эту идею своим трудом, деля все строительные специальности начиная от проектировщика, ответственного за все, до чернорабочего, грузчика, снабженца, шофера?..

Разве не взял на себя то, что никто из троих не мог со мной разделить?

Я многому научился на этом. И главному: не ждать никакой благодарности. Но, и это не секрет, мотался я ради ЛЮБВИ и ДРУЖБЫ которая нас троих вначале соединила. Я поверил в их силу и верность.

После предательства дружбы ОДНИМ (Нину Львовну число ТРИ не устраивало, оно казалось ей позорным) — положение сделалось ложным.

Нина Львовна поставила своей целью оторвать Славу и меня друг от друга. Она так и заявляла: я добьюсь этого.

Все хорошие начинания и стройка оказались на „военном положении“.

Во время когда я разрывался на части среди забот и ответственности и в данной усталости рисовал поздним вечером, Нина Львовна удостоила меня званием ПОДОНКА.

В своем иступленном эгоизме Нина Львовна заявила Славе что не может больше выносить этого „подонка“. (Простите я вспоминанию далеко не все чтобы оправдать свою резкость 4 января.)

Не знаю чем Нина Львовна подкрепляла свою терминологию, но хорошо бы ей начать критику с самой себя.

Пороча других Нина Львовна забывает о том что должна хорошо помнить.

Нина Львовна рассчитывает утаить свои грехи. ПРАВИЛЬНО РАССЧИТЫВАЕТ!

Пример Нины Львовны меня НЕ ЗАРАЖАЕТ.

Нужно иметь особую любовь к греху, чтобы вылезая из одного попадать в другой, потому что НЕТ ХУЖЕ ГРЕХА, ЧЕМ ВЕШАТЬ СВОИ ГРЕХИ НА ДРУГИХ, И БУДУЧИ УЯЗВЛЕННОЙ И ДУРНОЙ, УЯЗВЛЯТЬ И ПОРОЧИТЬ ДРУГИХ.

Нина Львовна объявила что дружба троих неестественна и позорна и заменила ее всем известной „войной троих“. Самое банальное и отвратительное, что есть на свете!

У всех начинаний появился злейший враг. Надо было оградить от него дело и дружбу. Это мог сделать только Слава. Он ничего не сделал.

Самое светлое и лучшее само собой вогналось в подполье. Как воры мы обсуждали теперь все нас связывавшее. Этим подливали масла в огонь. Это наша со Славой доля в навязанной нам войне.

Я пишу не с тем чтобы обвинять, хотя и с запальчивостью. Мне совсем не безразлично что произошло. Иначе бы я просто плюнул и ничего не говорил. Я пишу чтобы прояснить РОЛИ ТРОИХ ЛЮДЕЙ.

Хорошо зная свою вину я вижу что не она привела к развалу. Она всегда была виной следственной.

Меня провоцировали так долго и упорно что немудрено было сорваться. Всякий другой давно бы сдался.

Меня удерживала любовь к „самому делу“ и любовь к Славе.

Это бесило Нину Львовну заставляя ее изощряться и опускаться все ниже в средствах делать гадости. Спокойствие мое ее возмущало. Но… увы! и ему пришел конец. Так что не одна Нина Львовна несет вину. Она затащила в нее всех.

Третья вина (Славина) та, благодаря которой Нина Львовна празднует сейчас победу. Это вина „хозяина дома“ который ничего не делал чтобы оградить гостей от бесчинств Нины Львовны.

Это вина друга, который не защищал, или, плохо защищал друга.

Нина Львовна появляется как из земли врываясь в душу со своим коверкающим все оружием и потом — безнаказанная удаляется.

В присутствии своего мужа, в его доме, Нина Львовна провоцирует на скандал, а потом гонит вон его друзей!

Какая… (не буду говорить!)…роль!

Поневоле зауважаешь мудрых азиатов нашедших место своим женам по отношению к друзьям и гостям своим!

Нина Львовна называет себя женой. И понимает эту роль глубоко соответственно своему поведению.

ОНА: ВРАГ № 1 ВСЕХ СТРЕМЛЕНИЙ И НАЧИНАНИЙ МУЖА.

Ей не понятно что слово ЖЕНА на языке здравомыслия и любви означает — ПОМОЩЬ.

Но если жена — помощь, то друг — вдвойне помощь. Я же не знаю и не вижу защиты друга.

Никогда бы я не бросил общего дела если бы друг защищал меня от нападок.

В отказе защищать я вижу предательство дружбы — ВТОРЫМ.

Слава не видит своего участия в войне и говорит что война ведется Ниной Львовной и мною.

Какая глубокая НЕПРАВДА!

Как же не понимать что Нина Львовна ведет борьбу с ЕГО НАЧИНАНИЯМИ которые через меня осуществляются! В том то и дело, что моей головой, руками, стараниями делаются дела Славы которые до предательства дружбы Ниной Львовной были общими. Вот в чем дело!

Как же можно видя что именно дела, оставшиеся и без ее участия, делами общими гневят Нину Львовну отходить в сторону и оставлять меня одного под ударами.

У меня не было никаких интересов кроме тех чтобы выполнить до конца совместно намеченное со Славой.

Несколько раз я готов был сорваться и отказаться от продолжения дел. Огорчение которое я видел в Славе заставляло меня преодолеть слабость. Я знал Славину „любовь к порядку“ и вместе с моею „любовью к порядку“ она снова объединялась в силу.

Но теперь после новой выходки Нины Львовны и после Славиной реакции на нее Я СЧИТАЮ СЕБЯ СВОБОДНЫМ ОТ ОБЩИХ ДЕЛ.

Нину Львовну не остановило лицо искусства смотрящее со стен, как, впрочем, никогда высокое не заставляло ее устыдиться собственной мелочности.

4 января 1962 г я почувствовал что никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ХОЧУ СОПРИКАСАТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ НИНОЙ ЛЬВОВНОЙ ДОРЛИАК. И раз общение с Рихтером и его делами невозможно без этого Я НЕ ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ С ДЕЛАМИ РИХТЕРА.

(Нина Львовна! Вы можете праздновать победу! Голову даю на отсечение, Вы не рассчитывали, что так легко добьетесь того чего безуспешно добивались годами! Не оскорбись я за картины перед которыми Вы бесстыдничали, долго бы Вам пришлось еще ждать!)

Повторяю: я не имел своей личной цели — имел общую.

Меня именно за это травили, а друг отходит в сторону придумывая причину личной вражды между мною и Ниной Львовной.

С Ниной Львовной у меня нет общих дел и НЕТ К НЕЙ ВРАЖДЫ.

У меня были ОБЩИЕ ДЕЛА С РИХТЕРОМ И ЛЮБОВЬ К НЕМУ. (Вот причина вражды ко мне многих, не только Нины Львовны.)

Я ГОВОРЮ ТОРЖЕСТВЕННО — ЧТО НЕ ИМЕЮ ЗЛА К НИНЕ ЛЬВОВНЕ. Я НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЮ СВОЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЕЙ ВО ВРЕД. НАПРОТИВ, Я МЫСЛЕННО ИЗВИНЯЮ ЕЕ ЗА ЗЛО КОТОРОЕ ОНА ПРИНЕСЛА И ЕЩЕ ПРИНЕСЕТ. ПОТОМУ ЧТО МОЕ ЗНАНИЕ ВЕЩЕЙ ГОВОРИТ ЧТО

ДРУГОЙ ОНА БЫТЬ УВЫ! — НЕ МОЖЕТ.

У меня нет к Нине Львовне зла и вражды, но у меня есть глубокая антипатия к ее разрушительной роли.

Мириться с этим в самом себе — вопрос религии и другого пути для меня нет.

Столкнись Нина Львовна с себе подобным человеком — один из них был бы, наверно, уже убит.

По ходу общих дел с Рихтером я охватывал многие простейшие но тяжелые профессии; занимался черт знает чем. Делал я это во имя дружбы и любви (простите, для меня это не просто банальное определение).

Сейчас они преданы и передо мною два пути: из друга и помощника превратиться в подрядчика или: из друга и помощника превратиться в художника. Я выбираю второй путь. Он труднее и спокойнее. Я уползаю в самого себя.

Вы свободны, супруги Рихтер!

Я очень хорошо подумал и говорю Вам обоим: Делайте свои дела — сами И Счеты между собой, тоже, сводите без меня.

Я вам не козел, чтобы валить на меня и то, и другое. Между таких жерновов — сотрешься в порошок.

У меня есть свое Я.

НЕ ОТ СКУКИ общался со всяким тяжелым народом: нанимал, покупал, перевозил, ворочал камни, следил и обдумывал, торговался, попадался „на удочку“ и придумывал — где достать деньги… Не от излишней энергии я разрывался на части, не спал ночами, застревал в грязи, бегал по конторам, сидел голодным и ночевал в машине… Не от того что дорожил всем этим терпел хулу и скандалы…

Тот, кого я люблю сказал УХОДИ и я не пойду… а — ПОБЕГУ, чтобы скорее взять кисти.

Чтобы все стало ясным я перед лицом каждого из названных в начале письма ЗАЯВЛЯЮ и пусть это будет ДОКУМЕНТОМ (страх боюсь кривотолков) ЧТО: Я НЕ ИМЕЮ НИКАКИХ ПРИТЯЗАНИЙ НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ПОСТРОЕННЫМ ДОМОМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ЕГО,ЧТО: ТРУД ЗАТРАЧЕННЫЙ МНОЮ И СРЕДСТВА ВЛОЖЕННЫЕ МНОЮ ЛИЧНО, СЧИТАЮ ПЛАТОЙ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СЛЕПОТЫ СОБСТВЕННОЙ. В КОТОРОЙ ПРИНЯЛ ЗА ЛЮБОВЬ — НЕИСЧЕРПАЕМУЮ НЕНАВИСТЬ.

Нина Львовна празднует праздник.

Святослав Теофилович хотевший покоя (если он только не обманывается!) теперь получит его.

А мерзавец передает свои мерзкие обязанности вступающему в его должность.

Под конец я обращаюсь, извините, с напутствием к Нине

Львовне, Славе и себе В равной мере, и надеюсь, что *успокоенная* Нина Львовна и *успокоенный успокоенной* Ниной Львовной Слава, внемлят им:

Нине Львовне:

Плохо считать себя хозяином своей и чужой жизни. Все мы равны перед Богом и никому не дано права БЕЗНАКАЗАННО терзать и губить другого. Большая и КАЗНЯЩАЯ ошибка думать построить свое благополучие на несчастии другого; и сейчас достигнув своего — смиритесь и старайтесь не делать больше зла.

Славе:

Когда ты творец — ты в Боге, чем дальше ты ото всех и выше. Когда ты человек — ты в Боге, ближе ты ко всем и ниже.

Себе:

Будь благодарен всем урокам жизни, помня что — все от Бога.

В. М.»

Вера Ивановна молча прослушала, как я вслух читал записи Мороза.

Когда я закончил читать и закрыл тетрадь, Прохорова неожиданно предложила: «Возьмите себе. Станете писать о Светике, это может помочь».

* * *

Пока не грянул скандал, Нина с восторгом смотрела на Володьку.

Сама Нина Львовна хотела, чтобы в Тарусе возвели виллу. Но Светик ни о какой вилле не хотел и слышать. И потому в итоге построили тот простой деревянный дом. С балкончиком на втором этаже — «чтобы было место, где смотреть на реку и пить водку», как говорил Володька.

Хозяйка соседнего участка, хитрая женщина, бежавшая в свое время в Подмосковье с Украины от голода, долго наблюдала за отношениями Нины Львовны и Володьки. А потом сказала: «Ой, Валидька, Валидька, красивэнький, маладэнький. А ты Нина — ты ж страшна, ты ж стара! А Наташка (это про Гутман) — маладэнька, красивэнька! Шо ж тебэ Валидька? Вячеслав Трахимыч (это она так Святослава Теофиловича называла) — это ж деньги, он же роблет. Шо ж ты ж Нинка все смотришь на Валидьку?»

Я когда хотела в шутку позлить Володьку, то дразнила его, пересказывая эти слова.

А для Нины он был принц. Хотя потом наверняка его

приписывали в любовники Святославу.

Елена Сергеевна Булгакова, которая очень любила и уважала Рихтера, и это чувство было взаимным, говорила Нине, что нельзя так забывать Святослава Теофиловича.

Нина была так увлечена Володькой, что порою забывала обо всем. Случалось, даже холодильник в их доме был пустой, ей было не до того, чтобы проследить за домработницами.

Елена Сергеевна пыталась воздействовать на Нину. «Вы можете восхищаться Володей, — говорила она. — Но и о Святославе Теофиловиче не забывайте».

* * *

У Светика случился приступ, и его отвезли в больницу.

Я знала об этом. Конечно, ничего хорошего то, что он в больнице, не предвещало.

За несколько минут до смерти Рихтер сказал: «Я очень устал».

Мне потом это передал сам врач, к которому обратился Светик.

Любая смерть всегда неожиданна. Но уход Рихтера стал для меня большим ударом.

Утром мне позвонила Наташа Журавлева и сказала: «Все кончено!»

Наташа Гутман с Ниной Дорлиак ездили на Новодевичье кладбище выбирать место.

Наташа сразу сказала о желании Светика быть похороненным рядом с Генрихом Густавовичем, которого он считал своим вторым отцом. Но Нина ответила: «Ну разве тогда его могилу будут видеть?»

И в итоге его похоронили рядом со стеной, на самом проходе. Правда, он лежит рядом с Лидией Руслановой, с которой был знаком по своим выступлениям на фронте.

А сами похороны…

На них случилось то, чего он сторонился всю свою жизнь — приобщение к элите. Он этого терпеть не мог. К кому его приобщили-то? К министрам?

* * *

Сегодня начинается накручивание мифов вокруг Рихтера.

Мол, он не любил говорить по телефону. Да он просто не терпел пустых разговоров.

Терпеть не мог целлофан, в который заворачивают цветы. «Зачем их так мучают», — возмущался он.

На уровне интуиции понимал все. Ему не нравилось, что к нам ходил один композитор. «Почему он к тебе приходит? — говорил он мне. — Интересно с ним разговаривать? Ну, смотри, он тебя посадит». Я не верила. Но прошло не более чем два года, как меня действительно арестовали по доносу того самого композитора.

Когда я уже находилась в тюрьме, Слава прислал мне на именины поздравительную телеграмму. «Москва, Лубянка, Вере Ивановне Прохоровой. Поздравляю, целую, Рихтер». Следователь потом мне сказал: «Ну, враг совсем обнаглел».

А Слава был бесстрашен во всем.

Однажды во время гастролей в Тбилиси, когда он уже был знаменитым пианистом, его поселили в один номер с флейтистом. Перед репетицией Светик пошел погулять. Возвращается, а войти в номер не может — дверь закрыта. Тогда он постучал к соседу и попросил разрешения выйти из его окна на карниз и пройти по нему в свой номер. Сосед позволил, только заметил, что это шестой этаж. Рихтер совершенно спокойно ступил на карниз и прошел по нему. Я потом спросила его, неужели он совсем не боялся. «Нет, — ответил он. — Знаешь, кто испугался? Мой флейтист. Он был в номере с какой-то дамой и, когда я появился из окна, жутко испугался».

Как-то во время выступлений в Польше машина, в которой ехал Светик, попала в аварию. Прямо перед концертом его отвезли в больницу, где ему должны были наложить несколько швов. Но так как анестезия не позволила бы ему в этот же день выйти на сцену, Светик решительно сказал врачам, чтобы они действовали без обезболивания. И ему прямо по-живому наложили швы. От боли он даже потерял на мгновение сознание. Но для него это было совершенно неважно. Потому что уже через час он вышел на сцену и сел за рояль…

Совсем не боялся холода. Мы как-то в самый мороз отправились опускать в почтовый ящик письма. Славе нужно было отправить поздравления с Новым годом сорока адресатам. Светик спокойно, одно за другим, опускал письма и не обращал внимание на холод. А потом протянул мне руку: «Потрогай». Я коснулась — она была теплой. А я, хоть и была в варежках, очень замерзла.

* * *

Он объездил весь мир, и красота окружающего была для него смыслом жизни. Он замечательно описывал все, что видел. Но в последнюю неделю своей жизни, когда мы с ним увиделись, сказал: «Самые красивые и самые лучшие места в мире — это Ока и Звенигород».

Основой его основ была абсолютная непосредственность и связь с природой и людьми. Он был как человек периода Возрождения, когда после веков темноты, устрашения и аскетизма вдруг все проснулось — любовь к женщине, к природе.

Ему была присуща радость жизни.

И еще его отличало чувство абсолютного равенства. Когда он видел женщину, моющую полы, то тут же бросался к ней: «Надежда Ивановна, я вам сейчас помогу». И нес ведро с водой и мыл пол.

А его представляют совсем другим. Пишут, что, когда ему предлагали сыграть на расстроенном фортепиано, «его лицо искажала мука». Да Рихтер чуть ли не на полене играл, когда выезжал в госпиталя или на фронт.

Когда мои соседи просили его сыграть на абсолютно расстроенном инструменте, на котором половина клавиш не работала, он садился и играл.

О нем пишут как о снобе и мистике. А он не был мистиком. У моей сестры, она была медиком, дома лежал череп. Я всегда умоляла ее убрать его куда-нибудь подальше. Ну неприятно было постоянно наталкиваться на него. А Светик относился к черепу совершенно спокойно и называл Катькой. Когда я решила испугать его тем, что ночью к нему придет призрак этой Катьки, он, наоборот, обрадовался: «А чего бояться-то?»

Он был верующим человеком. Но эмоциональные проявления были ему чужды. Когда сегодня пишут, что, приходя в церковь, Рихтер падал на колени, говорят неправду. Он в церковь не ходил, а заходил.

Но все заповеди были для него чем-то естественным. Поэтому уход матери и стал для него такой трагедией. Мы говорили об этом со Светиком — почему она ушла, так любя сына. И решили, что это был гипноз.

Дома у Рихтера было несколько икон.

Он всегда отмечал Пасху, Рождество. Его же два раза крестили. Первый раз по-лютерански и нарекли Эриком. А потом по-православному. Светик говорил, что он помнит свое крещение. Его опустили в купель со святой водой, а он засмеялся и хотел схватить священника за бороду…

Сегодня рассказывают, что Рихтер возвышал себя над другими. Это тоже неправда.

Я никогда не слышала от него: «Как хорошо я сегодня сыграл». Наоборот, когда он слышал о себе восхищенные отклики «Гениально!», то говорил: «Гениальным может быть только художник, творец. А исполнитель может быть талантливым и вершины достигает только тогда, когда выполняет заданное художником».

Смертельно боялся, когда им начинали восхищаться.

Славословий не допускал его вкус. В таких случаях он замыкался и лишь вежливо улыбался в ответ. А на друзей, которые бросались перед ним на колени и аплодировали, даже обижался. «Ну почему они так себя ведут? — спрашивал он меня. — Мне это так больно видеть».

Однажды он мне рассказывал, как кто-то из поклонников, зайдя в его гримерку, принялся целовать ему руки. «Я чуть не завизжал от ужаса, — говорил Светик. — И в ответ бросился целовать руки тому человеку».

Рихтер любил Париж, вообще обожал Францию. В том числе и за то, что там он чувствовал себя свободно.

А здесь было всеобщее поклонение, которое его тяготило. Оно было физически невыносимо для Рихтера.

Да что говорить, если даже друг Славы Дмитрий Журавлев бросался перед ним на колени. В ответ Слава тоже становился перед ним на колени.

Вообще, Рихтер радостно общался с теми, кто не говорил с ним о музыке. А большинство почему-то считало, что только с нее и стоит начинать общение. Он же этого не выносил. «Чужие люди, они сейчас опять начнут говорить о том, как я играю!»

А вот еще эпизод. Светик как-то купался, и у него украли рубашку, оставив только штаны. А на берегу рабочие, которые до этого что-то чинили, сидели и выпивали. «Иди, — обратились они к нему, — к нам. Что это ты голый? Рубашку украли? Так возьми нашу тельняшку». Светик выпил с ними, надел предложенную тельняшку и так в ней и добрался до Москвы.

Он вообще к одежде относился довольно просто. У него была одна любимая рубашка, которую он носил несколько лет. А когда ее наконец выбросили, очень расстроился.

Светик был очень демократичным. Я жила в коммунальной квартире, и мои соседи, когда приходил Рихтер, часто звали его в гости. «Слав, мы тут выпиваем, заходи». И он никогда не отказывался: «С удовольствием. Вы, Ниночка, делаете такие хрустики (картошка, тертая на терке и жаренная на постном масле)! Бешено вкусно! А у вас еще и водочка? Прекрасно!» И садился с ними за стол, выпивал и шутил.

Говорил он просто, но очень образно и точно. Длинных речей

не любил. «Что, опять разговоры? — удивлялся он. — Но ведь это же скучно!»

В нем никогда не было многозначительности. Как бы точно сегодня ни цитировали какие-то его слова, все равно они приобретают иной смысл. Потому что Светик мог одним жестом или хмыканьем придать своим высказываниям совсем другое значение. В его словах был важен тон. А при цитировании ироническая интонация, увы, не слышна.

Рихтер был благодатным источником. Его образованность и невероятная память дают возможность желающим сделать из себя Марселя Пруста. Даже те, кто не был с ним знаком, позволяют себе писать о нем книги. Которые, увы, не всегда правдивы.

Он очень образно и говорил, и мыслил. Во время одной из наших прогулок вдоль озера неожиданно предложил: «Здесь может сидеть Русалка. Давай пойдем и познакомимся с ней».

О музыкальных произведениях он говорил также ярко. Одну из сонат Бетховена сравнивал с «весенним ветром на кладбище», а про пьесы Шопена говорил, что они всегда имеют занавес.

Рихтер мечтал дирижировать. Но не стал этого делать, так как понял, что в нем нет тяги к власти. Лишь единственный раз он взял в руки дирижерскую палочку. Да и это случилось скорее из-за того, что он сломал палец на левой руке.

Вообще, он не мог диктовать, он мог только предлагать.

Многие считали его снобом. Да, он не позволял приближаться к себе после концерта. Но не потому, что считал себя выше других. Ему просто хотелось побыть одному.

Зато когда во время гастролей по Сибири к нему в артистическую стоял настоящий лом, он просил пропускать строго по одному человеку. Потому что иначе не успевал познакомиться и поговорить с каждым.

* * *

За ним ведь ходили шпики. Светик любил прогуляться поздно вечером. И рассказывал, что всегда замечал за собой слежку чекистов. Однажды он решил проучить их. Завернул за угол дома и резко остановился. В результате шпик буквально уперся ему в спину.

Иногда он «выгуливал» их — шел в гору, потом спускался с нее, а затем вновь совершал восхождение. В метро как-то ему удалось вырваться вперед и вскочить в вагон. Когда поезд уже отходил, на платформу прибежал запыхавшийся офицер КГБ. Так Светик ему из окна показал, что надо, мол, прикрывать погоны и

постучал по плечу.

Он хорошо относился к министру культуры СССР Фурцевой. «Знаешь, а она искренна», — говорил он мне о ней.

Как-то министр на одном из приемов подошла к Светику и попросила передать Ростроповичу, что недопустимо позволять Солженицыну жить на его даче. «А что, там так плохо? — спросил Рихтер. — Тогда пусть Солженицын живет у меня на даче».

Он всегда находился вне политики. Как-то к нему пришли подписывать письмо против академика Сахарова. «А кто это? — спросил Светик. — Ах, ученый. Но я же с ним не знаком. А может быть, он хороший человек?» И не подписал ничего.

В отличие от Шостаковича, который подписывал все и потом обижался, что его за это ругают по «Голосу Америки».

Когда в начале восьмидесятых Рихтер выступал в Горьком, он попросил отложить два билета для Сахарова и его жены, которые находились там в ссылке. Конечно же ему сказали, что это невозможно. Тогда Светик вообще отказался играть. И властям не оставалось ничего другого, как пригласить на концерт семью Сахарова.

* * *

Светика считали чуть ли не дурачком, каким-то диким сумасбродом. Но все его поступки объяснялись абсолютной естественностью, которой он ждал и от других. Всегда просил: «Не надо при мне стесняться, а то и я начну стесняться тоже».

Рихтеру было абсолютно все равно, что о нем говорят. Он рассказывал, что как-то хорошо играл Бетховена, а публика в зале была вялой. Зато когда во втором отделении кое-как играл Листа, успех был громадный.

Сам себя он не хвалил никогда. Самой большой похвалой себе были слова: «Вроде сегодня первая часть получилась».

У него было удивительное отношение к произведениям, которые он играл. Как-то он сказал: «Если я плохо играю, мне становится стыдно. Вчера было стыдно перед Листом».

Его на самом деле волновала только музыка.

Как-то ему должны были делать операцию, и Светик находился в подавленном настроении. «Вы грустите перед операцией?» — спросили его. «Нет, мне все равно, что делают с моим телом. Просто в этом году я сыграл более 100 концертов и надеялся, что достиг какого-то успеха. А сейчас подумал и понял, что это совсем не так».

На его концертах всегда стояла особая тишина. Казалось, что

стены исчезали и раздвигались. «Полная гибель всерьез», — как говорил Пастернак.

И так было всегда, со времени его первого концерта. Когда Рихтер играл свой дипломный концерт, в зале неожиданно отключили свет. Все растерялись. И вдруг из наступившей темноты полились божественные звуки музыки…

* * *

Записанный во время первой встречи монолог Веры Ивановны был опубликован. Прошло несколько лет. Статью о Рихтере перепечатали несколько газет и журналов, она появилась в Интернете. А потом эта история получила неожиданное продолжение.

В редакции журнала, где я тогда работал, раздался телефонный звонок. «Меня зовут Галина Геннадьевна, — произнес голос в трубке. — У меня есть письма Рихтера, вам интересно?»

Через день я уже внимательно слушал рассказ женщины.

Оказалось, ее брат Анатолий, летчик по профессии, был близким другом великого музыканта. Они часто встречались, а когда Святослав Теофилович уезжал из Москвы, то переписывались.

Однажды Рихтер даже приезжал к матери Галины и Анатолия, у которой в тот момент гостили брат с сестрой. В небольшую деревушку за двести километров от Москвы пианист добрался на электричке, а потом еще прошел несколько километров от станции пешком.

В гостях он с удовольствием ел жареную картошку с квашеной капустой, бывших, по его словам, любимым блюдом. Когда хозяйка дома, понятия не имевшая, кто такой Рихтер, но полюбившая его с первого взгляда, предложила выпить водки — на улице было довольно холодно, — Галина попыталась подмигнуть матери, мол, не надо такому гостю предлагать водку. Но Рихтер, перехватив ее взгляд, улыбнулся: «Водочки? С удовольствием. А то я действительно замерз».

«Толя часто рассказывал мне про Рихтера, — вспоминала Галина Геннадьевна. — Говорил, что Слава был очень несчастным человеком. Брат хотел, чтобы все узнали, что жизнь Рихтера была вовсе не такой безоблачной и благополучной, как о ней пишут».

В начале 1990-х Анатолий трагически погиб. В его вещах Галина Геннадьевна обнаружила письма от Рихтера, одно из которых позволила опубликовать.

* * *

«Дорогой Анатолий! Наконец смог сесть за письмо тебе. Я только вчера утром получил твое и поэтому в среду долго наблюдал оживление, которое царило среди веселых купающихся при свете печальных сумеречных ламп; сидел на скамье и волновался.

Твое письмо (второе) меня и огорчило (эгоистично) и успокоило (из-за того, что ты будешь отдыхать в постели). Ты правда страшно устал и тебе нужен отдых. От твоего письма мне еще больше захотелось тебя видеть и чувствовать.

Мне так жалко и досадно, что я в тебе часто вызываю нетерпение и досаду, и так хотелось бы этого избежать.

Ты пишешь, что тебя надолго не хватит, и я себя чувствую опять очень виноватым.

Ну ладно, пожалуйста, не досадуй на меня. Я так хочу (и буду делать), чтобы все было хорошо.

В моем путешествии все было довольно удачно, красиво и элегантно. Кроме самого главного — я недоволен своим выступлением. Конечно, это естественно, поскольку у меня был большой перерыв, но все-таки жалко (внешне это был очень большой успех, но ты ведь знаешь, что это для меня не главное).

На обратном пути я на один день задержался в столице Украины, где целый день опять сидел за инструментом, готовясь к 28-му (отложенному 30 мая) в Москве. Приехал 27-го и застал твое первое письмо из аэропорта (меня оно очень огорчило, по-видимому, я действительно „маленький“, если не умею делать простые вещи). Напиши мне, пожалуйста, как это обошлось.

Ты, вероятно, останешься до дня рождения сына. И это мне понятно, так оно и должно быть. Теперь мне очень интересно, когда я тебя все же увижу, потому что очень скоро опять уеду.

Прошу тебя очень, по возможности отдыхай и старайся не раздражаться — это для тебя главное. Ты скажешь: „Легко сказать!“, но будешь не прав. Хотя у меня очень многое по-другому, но по части волнения, нервов и перегруженности на работу, правда, у нас выйдет так на так…

Желаю тебе, чтоб твои заботы в Казани увенчались успехом, чтобы ты хорошо себя чувствовал, а главное, чтобы ты всегда был счастливым.

Обнимаю тебя, твой Славкин 29.05.64»

* * *

Весной 2009 года я решил набрать номер телефона Веры Ивановны. Перечитав записи наших разговоров, я подумал, что из всего этого может родиться книга.

Мы не виделись больше пяти лет. И уверенности в том, что Вера Ивановна не сменила телефон, у меня не было. А если быть совсем честным, у меня ни в чем не было уверенности.

Прохорова на звонок ответила. И я возликовал. Потому что у меня вновь появилась возможность поговорить с Эпохой. Ведь именно ее голос, да простят мне высокопарность, я услышал в телефонной трубке.

Я попросил Веру Ивановну о встрече, так как хотел показать ей расшифровку наших бесед. И расспросить о многом другом.

«Как мило, что вы решили показать мне текст, для меня это уникально, — сказала Вера Ивановна. Голос у нее был уже не тот, не так звенел и разливался, как несколько лет назад. Впрочем, оно и понятно — Прохоровой шел 92-й год. — А то я сейчас читаю о Рихтере, и мне начинает казаться, что пишут не о Славе, а о каком-то гангстере. Так, женщина, претендующая на звание знатока Рихтера, утверждает, будто он никогда не говорил по телефону. А как же порою мы тогда с ним общались?

Давайте мы с вами созвонимся завтра. У меня после обеда будет урок, а до обеда я, кажется, свободна.»

Я положил трубку и почувствовал себя на вершине мира…

На следующий день мы созвонились. И договорились о встрече.

И вот я снова в той же квартире в Сивцевом Вражке. И меня встречает хозяйка — улыбчивая, гостеприимная, скромная. Прекрасная.

Мы не виделись с ней несколько лет. С одной стороны, Вера Ивановна вроде и не изменилась. А с другой, годы конечно же не прошли бесследно.

Она уже с трудом ходила, была согнута почти под прямым углом. Но когда садилась на свой любимый стул (у нее дома, кажется, и было только три стула) и с какой-то почти застенчивой улыбкой принималась расспрашивать о том, как дела, а я, коротко ответив, сам старался расспросить ее о многом, передо мной представала все та же Вера Ивановна. Та же Випа…

Я совершенно не задумывался о том, сколько ей лет. Мне было так интересно, что мы могли говорить и два, и три часа. Лишь когда приходила племянница Веры Ивановны и справедливо замечала моей собеседнице, что нельзя так долго находиться в одном положении, это вредно для ног, и вообще, на сегодня разговоров достаточно, я вспоминал, что Прохоровой на самом деле уже очень много лет. И ей действительно надо отдохнуть.

Но каждый раз, покидая квартиру на Сивцевом Вражке, я

давал себе слово обязательно сюда вернуться. И случалось, приходил к Прохоровой чуть ли не каждый день…

В ее квартире по-прежнему обитает кошачья семья. «Вы не против кошек? — во время нашего нового свидания спросила меня Прохорова. — Вот и замечательно. А то ведь коты чувствуют отношение к ним. Проходите в комнату».

* * *

Я все думала после нашей предыдущей встречи…

Мои слова — это такая ответственность перед памятью Славы. Ведь о взаимоотношениях между ним и Ниной говорить неприятно.

Митюля — это такой реванш. Ведь он оказался невероятно мстительным. Но Нина сумела сделать его наследником. Пусть абсолютно противозаконно, но сумела. Ему досталось все. И он начал продавать. Недавно узнала, что он продал рояль Славы…

Боже мой!

Мало того, он же еще получил право продавать разрешения на выпуск пластинок с записями Славы. Таинственным образом.

Когда Наташа Гутман пошла к нему за разрешением, он отказал. При этом шаркнул ножкой: «Вон у меня сколько записей лежит под диваном, но вам не дам. Просто не хочу».

И еще позволил себе антисемитские высказывания. Для Святослава это такое посмертное поругание!

Нельзя сказать, что Светик ненавидел его. «Мне его жалко даже», — сказал он как-то. Но Митюля был для него такой обузой!

Главное, чего я не могу простить Нине, это ее отношения к Славе. Потому что любила она только одного человека, Митюлю. В мороз она пойдет босая по снегу, если Мите надо принести бутылку водки. Ночами сидела при нем, когда к нему нельзя было подойти, — он пьяный был агрессивным и тут же бросался в драку.

Для Дорлиак Митюля был единственным смыслом жизни.

Как-то у нее вырвалось в адрес племянника: «Какой красавец!» А у Митюли на лице были явные следы потасканности и деградации. При этом все свои неудачи он срывал на Нине. Он был неудачным актером, не мог удержаться ни в одном театре.

Как-то он разбил машину, наехал на двоих людей, и его арестовали. Так Нина заставила Свету пойти к Фурцевой: «Иначе я умру. Если с ним что-то случится, я жить не буду». И Светик пошел к министру.

«Фурцева достала огромную папку, — рассказывал потом Святослав, — где были все протоколы на Митюлю. Документально описывалось, как он себя ужасно вел, как ругался матом на милиционеров». Фурцева тогда сказала: «Хороший вы человек, Святослав Теофилович, но как вас обманывают! Но ради вас мы его, конечно, освободим».

Как-то мы сидели со Светой в их квартире на Бронной улице, разговаривали о чем-то. Митюля спрашивает:

— О чем шепчетесь?

— Заговор против тебя готовим, — отвечает Святослав.

— Заговор обречен! — категорично сказал Митюля.

Нет, он не дурак был.

А накануне смерти Рихтера он запил. И все внимание конечно же было направлено на него, а не на больного Славу…

Но и самой Нине Львовне доставалось от Митюли. Уже когда она была смертельно больна раком, он ударил ее так, что Нина упала с кровати и сломала ребро. Но все равно продолжала слепо обожать племянника. А тот не то что не чувствовал за собой вины, а даже не хотел заходить в ее комнату. И тогда ученица Нины Львовны придумала выход: она подозвала Митюлю, вручила ему джинсы и сказала, что это от Нины Львовны и, может быть, он зайдет и покажет ей, как хорошо на нем сидит подарок. Только тогда Митюля соизволил войти в комнату к умирающей тетке. И Нина, как рассказывала мне ее ученица, уже находясь на пороге смерти, расцвела и сделала вид, что прекрасно себя чувствует.

Почему все так происходило? Может, сказывался нереализованный материнский инстинкт Нины. А может, ее обида из-за разницы в возрасте, на которую «добрые» люди часто указывали…

* * *

Для Рихтера потеря матери стала не просто трагедией, как для любого другого человека. У него произошла переоценка всей жизни.

Но Нина была хорошей певицей, надо отдать должное ей. Я поначалу ею восхищалась — красивая, изящная, да еще музыкант.

Но Рихтер, очевидно, опасался ее железной хватки. Он же попытался уйти от Дорлиак. Я тогда сидела в лагере.

Слава приехал на Клязьму к Геккерам. Это была семья наших лучших друзей. Геккер был профессор, который после революции решил объединить коммунизм с христианством. В 1937 году его

арестовали и расстреляли. Осталось 5 дочерей, которых в шутку называли невестами Славы.

Как-то мы приехали к ним на дачу и отправились купаться. А Светик остался заниматься. Часа через полтора мы вернулись, а он все еще сидел за роялем. И тогда одна из сестер, Вера, которая тоже была пианисткой, сказала: «Я бы так не смогла — один и тот же пассаж играть полтора часа!»

Но идеальной женой для Славы была бы Ольга Геккер.

К ней тогда и сбежал Слава и признался, что больше не выдержит жизни с Ниной: «Я больше не могу!»

Но Оля, дочь хозяина дома, которой он все это рассказал, потом призналась мне: «Ну что я могла сделать?» Она, скромная, нежная, сама любила Славу, и если бы он раньше догадался, у них могла бы быть замечательная семья. Но в тот момент Оля уже была женой Толи Ведерникова.

Нина Львовна вычислила, где может быть Слава. Приехала на Клязьму и сказала, что, если Рихтер не вернется, она умрет. Говорила, что у нее начался какой-то процесс. И он вернулся. И смирился.

Потом он говорил мне: «Если бы я начал выяснять с ней отношения, то у меня не было бы сил. А если бы не было сил, я не смог бы играть. А тогда мне незачем было бы жить».

Перед смертью он сказал мне, что самое страшное в его жизни — это Кондратьев и Нина Львовна.

Ее имя он назвал не с точки зрения, что она зло. А скорее из-за полной несовместимости понимания жизненных ценностей.

Есть такое выражение на английском, которое очень точно характеризует Светика и Нину:

> He was born for sweet delight
> She was born for endless night

(Он был рожден для радостей, а она для нескончаемой ночи.)

Про Нину Львовну говорили, что она Жанна д'Арк.

Кто-то заметил: «Конечно Жанна д'Арк, если смотреть на друзей Рихтера, как на англичан».

Она действительно терпеть не могла близких Славы. Звонит ему, например, Елена Сергеевна Булгакова. А Дорлиак ей говорит: «А Сла-ава спи-ит». Хотя тот и не думал спать в тот момент…

Светик общался со всеми и был очень дружелюбным. Нина этого не понимала. «Зачем этот человек нужен?» — даже ко мне обращалась она с вопросом. Мол, ничего полезного он сделать не может. А я удивлялась — ведь дружба основывается не на выгоде.

Так меня воспитывали.

У меня было три бабушки, одна родная и две деревенских: няня и папина кормилица, и никакого разделения я не делала. Я их просто любила. Кто бы в моем доме посмел сказать, что я не имею права с кем-то общаться?

А у Славы так было. Я пыталась убедить его поступать по-своему. «Что ты, сразу начнутся упреки и истерики», — отвечал он…

Когда сын Наташи Гутман решил стать скрипачом — он вообще был талантливым, — Нина стала внушать Светику, что мальчик бездарен. И что вывести его на сцену — это исключительно прихоть Наташи.

Почему он всю жизнь прожил с Ниной? У меня нет ответа на этот вопрос. Они жили в отдельных квартирах и все время были друг с другом на «вы».

Нина была человеком железной воли.

Но самое грустное заключается в том, что у нее был абсолютно противоположный взгляд на мир. Все казалось мраком. Тогда как Светик мог радоваться буквально всему. Они были полярные люди.

Вопрос, чем Слава все это заслужил, я себе не задаю. Потому что на него нет ответа.

Я как-то оказалась в одной компании с критиком Непомнящим, разговор зашел об атеизме. И мне запомнились его слова: «Я понял, что, говоря о Боге и справедливости-несправедливости возмездия, мы судим с точки зрения нашей земной логики. А что такое наша жизнь с позиции вечности? Ничто! И наша логика логике высшей не соответствует вообще. Главное — это высший разум, который нам не доступен. Как недоступно понятие вечности».

Так что существуют вопросы, ответы на которые для нас непостижимы.

А Святослав…

Самый страшный удар для него — это предательство матери. Это же гамлетовская ситуация! Страшная еще и тем, что Свете потом сказали, что любовник матери донес на отца, что тот якобы ждет немцев.

Но Рихтер все равно был счастливым человеком. Он был счастлив своей от природы солнечной натурой. С ним было нельзя поссориться. Он полностью оправдал свое имя — после встречи со Светой весь день было хорошее настроение…

* * *

Нина и Слава похоронены на разных участках Новодевичьего кладбища. Нина на старой части возле могилы брата. А Рихтер — возле стены…

Митюля заведует могилой. Говорят, какой-то камень надгробный положил.

Я там не бываю. У меня остался свой Слава.

Главная моя беда на сегодня — это только его оскверненная память.

Может, этими воспоминаниями удастся восстановить справедливость…

Глава 3
Пастернак и Зинаида Николаевна

Линия жизни

Борис Пастернак

Родился 10 февраля 1890 года в Москве.

Отец — художник Леонид (Исаак) Пастернак.

Мать — пианистка Розалия Кауфман.

До 30 лет поэт носил отчество Исаакович.

В 1921 году родители и сестры Пастернака эмигрировали.

В 1922 году женится на Евгении Лурье, через год рождается сын Евгений.

В 1932 году женится на Зинаиде Пастернак. Спустя 5 лет рождается сын Леонид.

С 1945 по 1955 год работает над романом «Доктор Живаго». Согласно первоначальному замыслу, роман должен был носить название «Девочки и мальчики».

В 1957 году роман был впервые опубликован в Италии, а затем в Великобритании. С этого времени начинается травля писателя, его исключают из Союза писателей СССР. В 1946 году впервые был выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе.

В 1958 году стал лауреатом этой самой престижной премии мира за «достижения в современной лирической поэзии». Власти отреагировали на награду, назвав писателя и поэта «паршивой овцой».

В 1959 году заболевает раком легких.

Смерть наступила 30 мая 1960 года.

В 1965 году на экраны вышел фильм режиссера Дэвида Лина «Доктор Живаго» (главную роль исполнил Омар Шариф), представленный в 10 номинациях на премию «Оскар». Всего картина стала лауреатом пяти премий «Оскар», в том числе в категории «за лучший сценарий». Одним из авторов был назван и Борис Пастернак.

В Советском Союзе «Доктор Живаго» впервые был напечатан только в 1988 году.

Зинаида Пастернак

Родилась в 1897 году.

Скончалась 23 июня 1966 года. Похоронена в Переделкино рядом с могилой Пастернака.

* * *

Считается, что Пастернак получил Нобелевскую премию, укравшую у него добрый десяток лет жизни, за роман «Доктор Живаго».

Над сценарием к одноименному фильму непосредственно с режиссером работал Роберт Болт, но имя Пастернака тоже было заявлено в номинации и тоже прозвучало со сцены во время церемонии награждения фильма «Оскаром».

Обо всем этом на родине самого лауреата, увы, никто тогда так и не узнал.

Что меня поразило в свое время в биографии Пастернака, так это его разговор со Сталиным. Это в общем-то довольно известный факт.

В 1933 году Мандельштам написал знаменитое стихотворение о «кремлевском горце», чьи «толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири, верны».

Во время прогулки по Москве Мандельштам прочел эти строки Пастернаку. Тот, по воспоминаниям современников, отреагировал следующими словами: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому».

Но Мандельштам стихи конечно же читать продолжал. И в 1934 году был арестован.

Николай Бухарин, в те годы один из ближайших соратников Сталина, в письме вождю упомянул, что из-за ареста Мандельштама Пастернак находится в «умопомрачении». И тогда Сталин позвонил Пастернаку.

В считаные часы известие о том, что Хозяин лично соизволил набрать домашний номер Гения, стало достоянием всей Москвы. (Спустя несколько лет Сталин вновь использует тот же прием и позвонит опальному Булгакову. Но об этом мы поговорим в следующей главе.)

Существует много версий того, о чем же был разговор первого

поэта и первого палача. Но все они сходятся в одном — главной темой беседы была просьба Пастернака не об освобождении Мандельштама, а о личной встрече с вождем.

«Почему мы говорим все о Мандельштаме и о Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить», — сказал Пастернак в версии, изложенной Анной Ахматовой.

Заметив, что «старые большевики от своих друзей так быстро не отказываются», Сталин спросил, о чем Пастернак хочет говорить с ним. Поэт ответил: «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку и больше с Пастернаком не общался…

Юрий Нагибин очень метко напишет в своих дневниках, что Пастернак в ситуации с Мандельштамом «скиксовал».

Но во всем этом и был Пастернак.

Тот самый, которого мы читаем.

И о котором, увы, по большому счету не знаем ничего.

* * *

Расспросить Веру Прохорову о Пастернаке я мечтал давно.

С того самого дня, когда, собирая материалы о подруге Рихтера, узнал, что среди подписей в письме с просьбой о реабилитации Прохоровой стоял и автограф великого поэта.

* * *

Как я уже говорила, моя тетка Милица Сергеевна была женой Генриха Густавовича Нейгауза. А его первой женой и матерью двоих сыновей — Адриана и Станислава — была Зинаида Николаевна Пастернак.

К Пастернаку от Нейгауза Зинаида ушла в 1931 году Но брак с Борисом Леонидовичем не разрушил ее отношений с Нейгаузом.

Пастернаки жили в Переделкино, и мы с Генрихом Густавовичем не раз ездили к ним в гости.

Не смею сказать, что дружила с Борисом Леонидовичем, но несколько раз мы встречались. Запомнилось ощущение его невероятной детской наивности в сочетании с глубинной мудростью и добротой.

Пастернак был воцерковленный человек. Хотя первая жена пыталась обратить его в иудаизм и даже водила к раввину. Но Борис Леонидович остался православным.

Мы с ним говорили обо всем.

Сейчас часто говорят о разнице поколений. А я в это не верю.

В обсуждении жизни, политики, отношений между людьми какая может быть разница между, скажем, 29-летним и мною? Только в опыте. Конечно, потом молодой человек пойдет, например, веселиться куда-нибудь, а я останусь дома. Но говорить-то мы с ним на одном языке можем.

* * *

Дома у Нейгауза мы тоже виделись с Борисом Леонидовичем. Говорили там на самые разные темы. Часто спорили о музыке.

Например, друг семьи Александр Габричевский, замечательный переводчик и искусствовед, терпеть не мог музыку Сергея Рахманинова и боготворил сочинения Дмитрия Шостаковича. А Генрих Густавович, наоборот, очень любил Рахманинова и говорил: «Саша, тебя снобит».

И начинался спор, который мы, затаив дыхание, слушали.

Приходил философ Асмус, разговоры с которым тоже было очень интересно слушать.

Кстати, жена Асмуса Ирина Сергеевна сама была тайно влюблена в Пастернака. И именно она познакомила поэта с Зинаидой Николаевной. Когда в итоге Пастернак влюбился в Зинаиду Николаевну, Ирина Асмус на нее сильно обижалась. Правда, потом все остались друзьями и ходили друг к другу в гости.

Дом Нейгаузов вообще был открытым. Им дали квартиру на улице Чкалова, в доме, где жил знаменитый летчик Валерий Чкалов. Это произошло году в 37-м, после конкурса в Варшаве. Мерзкое, надо сказать, место — прямо наискосок от Курского вокзала. Тогда там был абсолютно голый двор, только-только посадили хилые деревца.

Каждый гость воспринимался как подарок Бога.

Тетя Милица говорила: «Что-то на столе все закончилось, пойду вертеть блинчики!» Она очень вкусно делала блины. И потом все вновь собирались за столом.

А затем играли в шарады, старшее поколение это очень любило.

Порядка в смысле приемных часов не было, кроме времени, когда Генрих Густавович занимался.

Вечерами появлялся Толя Ведерников, у которого были репрессированы родители. Тетя тут же сажала его за стол: «Ты голодный!» Слава Рихтер часто бывал, дочь Нейгауза, сыновья Адик и Стасик, тут же собака Альма…

Однажды к Нейгаузам пришел Сергей Прокофьев. За один

рояль сел Светик, за другой — Толя Ведерников. А Сергей Сергеевич стоял между ними и дирижировал исполнением своего Третьего фортепианного концерта. Рихтер и Ведерников сыграли конечно же великолепно.

Когда они закончили, то Прокофьев, словно фокусник, достал из кармана две маленькие шоколадки, воскликнул «Молодцы!» и вручил сладости музыкантам.

Зинаида Николаевна тоже приходила в этот дом. У нее были нормальные отношения со второй женой Генриха Густавовича, так как она понимала, что моя тетя ни в чем не виновата. Зина же сама ушла от Нейгауза к Пастернаку. Но Генрих Густавович, видно, ее по-прежнему любил.

* * *

Так получилось, что эти строки я писал в Грузии, где, собственно, и развивались отношения влюбленного Пастернака и ответившей ему взаимностью Зинаиды Нейгауз.

Мало того, писал я об отношениях Пастернака и его второй жены в курортном городке Кобулети — аккурат том месте, где в 1931 году все по большому счету и началось.

В августе Борис Пастернак неожиданно принял решение на несколько месяцев уехать из Москвы. Вместе с ним из столицы исчезла и жена знаменитого пианиста Генриха Нейгауза Зинаида.

Причина столь внезапного отъезда заключалась в делах сердечных. Пастернак влюбился так, как не любил никогда. И в его жизни начался самый страстный, самый трепетный роман, который он сам считал «вторым рождением».

Их знакомство было случайным. Зинаида Нейгауз никогда не была поклонницей поэта Пастернака, его стихи казались ей какими-то непонятными. И она, не стесняясь, прямо говорила об этом.

Спустя годы Зинаида Николаевна вспоминала, что при первых встречах ей казалось, что Пастернак «как личность выше своего творчества», и она «была покорена им как человеком, но как поэт он был… мало доступен».

А Борис Леонидович сразу понял, что он встретил женщину, которую ни в коем случае не должен упустить. Кому, как не ему, одному из самых гениальных сочинителей двадцатого столетия, было знать, как важно иметь рядом с собой человека, ради которого хочется не просто творить. Хочется жить.

Увы, никого из живых свидетелей первого приезда великого поэта в Грузию не осталось. Но почувствовать, что же ощущал

влюбленный Пастернак, прогуливаясь по кобулетской набережной, я попытался.

Как и попробовал понять, каким человеком на самом деле была Зинаида Николаевна.

Ничего, наверное, не бывает случайным. Ибо, зайдя в один из местных книжных магазинов, я увидел сборник писем Пастернака к жене, объединенный в одну книгу с воспоминаниями самой Зинаиды Николаевны.

Я сидел у моря, где на тех же самых камнях восемьдесят лет назад сидели герои этого рассказа, читал их переписку и понимал, каким трудом и каким наслаждением были их истинные отношения.

Недаром, когда через год после смерти Пастернака у Зинаиды Николаевны случился инфаркт, писатель Корней Чуковский заметил, что в этом нет ничего удивительного. Странно другое — что этот инфаркт не случился раньше…

Но все это произойдет потом. А пока ни Пастернак, ни его любимая женщина не подозревали, что их ждет впереди.

Да и к чему было заглядывать в будущее, когда на дворе стоял 1931 год, и единственное, в чем они были уверены, это в своих чувствах друг к другу.

Накануне их первой совместной поездки в Грузию Пастернак писал ей: «Любушка, прелесть моя неслыханная! Я знаю, что хотя я хуже Гаррика, и даже сравнивать ни с чем не смею твоей большой и истинной жизни с ним, но что твоя встреча со мной перемещает твою судьбу в какую-то более ей сужденную и более выражающую обстановку не благодаря мне, а той случайности, что с детства я поглощен тем самым, из чего ты вся соткана, тем настоящим, что условно и после многих видоизменений зовут мировой поэзией и что посвящено слушанью жизни и женщины в глубочайшей их первородности, как воздух предназначен для передачи звука!..

И я знаю, что так, как я люблю тебя, я не только никого никогда не любил, но и больше ничего любить не мог и не в состоянии, что работа и природа и музыка настолько оказались тобою и тобой оправдались в своем происхождении, что — непостижимо: что бы я мог полюбить еще такого, что снова не пришло бы от тебя и не было бы тобою».

Недаром совместная жизнь Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны началась у моря — такими же то грозно бущующими, то ласково плещущимися были и их отношения.

Решающее слово в них оставалось не за интеллектом, а за влюбленностью, способностью Бориса Леонидовича любить («я хочу жить пронзенным и прозиненным», — писал он будущей жене)

и за способностью Зинаиды Николаевны это принять и понять.

Спустя десять лет после «бегства» в Грузию, в августе 1941 года, когда Зинаида находилась в эвакуации, Пастернак писал, что остался в Переделкино совсем один и его навещают лишь Нейгауз и Милица Сергеевна.

«Я их очень люблю, они очень милы, но чужды мне в том главном отношении, в котором ты, как я, и так мне близка… Когда тебе не пишут, ты бушуешь, что тебя все забыли, а когда тебе говорят, что ты любушка и Ляля и что без тебя жить нельзя, ты досадуешь, что это только чувства, а не гонорар за несколько газетных фельетонов. Я страшно скучаю по тебе и почти плачу, когда пишу это…»

Пастернак поддерживал теплые дружеские отношения и с Нейгаузом, и с его второй женой. Общалась с ними и Зинаида Николаевна. Хотя было время, когда она, только-только родившая сына Адика и беременная вторым ребенком, едва ли не проклинала Нейгауза.

Причиной стало известие о том, что у мужа родилась дочь от другой женщины — Милицы Бородкиной.

Зинаида Николаевна говорила, что даже хотела покончить с собой и с ребенком. И лишь «чувство материнства взяло вверх», ей стало жалко ребенка, и она вернулась домой.

Спустя год после того события, в 1927 году, и состоялась первая встреча Зинаиды Николаевны с Пастернаком.

Когда поэт провел у Зинаиды Нейгауз первую ночь, она на следующее же утро написала письмо мужу, который был на гастролях. Потом Зинаиде Николаевне рассказали, что ее письмо передали Нейгаузу прямо перед концертом. И во время выступления пианист вдруг закрыл крышку рояля и заплакал.

Нейгауз вернулся в Москву, у них состоялось объяснение, и Зинаида Николаевна пообещала, что останется с ним. «Увидев его лицо, я поняла, что поступила неправильно не только в том, что написала, но и в том, что сделала». Но и Пастернак отступать не собирался. «Он писал большие письма по пять-шесть страниц, и все больше и больше покорял меня силой своей любви и глубиной интеллекта».

Мучительный треугольник, в котором очутились влюбленные, разрешился летом 1931 года. Тогда-то Пастернак и привез Зинаиду Николаевну в Кобулети.

Решение было принято, и Зинаида Нейгауз стала Зинаидой Пастернак. В 1937 году у Пастернаков родился сын Леонид.

Беременность Зинаиды Николаевны выпала на страшные дни набирающего обороты террора. Она вспоминала, как в один из дней к ним домой приехал «собиратель» писательских подписей под

письмом с одобрением смертного приговора врагам народа маршалам Тухачевскому и Якиру. «Первый раз я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: „Чтобы подписать, надо этих людей знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, я ни за что не подпишу!“ Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: „Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет“.» В итоге, правда, подпись Пастернака в опубликованном в газете письме появилась. А вскоре родился и сын Леонид. Он прожил всего 39 лет и скончался в 1976 году.

За несколько дней до Победы умер сын Зинаиды Николаевны от Нейгауза. Да и сама она выглядела настолько плохо, что жена Асмуса Ирина Сергеевна, та самая, которая, собственно, имела виды на Пастернака в 1925 году, даже предложила Зинаиде Николаевне написать завещание, согласно которому воспитанием Лени после ее смерти займется именно Ирина Сергеевна. Так как Пастернак, говорила Асмус, обязательно снова женится и ему будет не до ребенка.

Зинаида Николаевна никакого завещания писать не стала. А потом и вовсе не сдержалась и ответила Асмус, что еще вопрос — кто раньше умрет.

Эта фраза мучала Зинаиду Пастернак до последнего дня.

«В сентябре они (Асмусы. — И. О.) уехали в Коктебель, оттуда приехали в начале ноября, а в декабре Ирины Сергеевны не стало, она умерла от рака крови».

Обо всем этом я читал в книге воспоминаний Зинаиды Пастернак.

А Вера Ивановна знала как очевидец.

Ведь даже попытку самоубийства из-за казавшегося ему равнодушия со стороны Зинаиды Борис Пастернак (он выпил флакон йода) сделал на глазах бабушки Прохоровой, матери Милицы Бородкиной. Это случилось в квартире в Трубниковском переулке.

Потом женщина лично рассказала Вере, что тут же дала поэту стакан молока и все обошлось…

* * *

Зинаида Николаевна была весьма своеобразной женщиной. На Пастернака смотрела сверху вниз.

Она по-своему была очень красивой, с ликом греческой маски — черные волосы, огромные черные глаза и всегда почему-то скорбное выражение лица.

Я имела счастье знать художника Фалька, он был настоящим философом. Я спросила как-то у него:

— Роберт Рафаилович, почему все так влюблялись в Зину? Она же такая суровая.

На что Фальк ответил:

— В ней была тайна. Ее молчание не предполагало духовную неразвитость.

Хотя в чем-то и она в Зинаиде присутствовала.

Например, Генрих Густавович читал в словаре слово «аккуратно» и шутливо комментировал: «А моя первая жена Зиночка писала это слово через „о“ и с одной буквой „к“. Поэтому мы с ней расстались».

Она была музыкальной. С Нейгаузом познакомилась в Киеве, где была его ученицей. А вообще они все, как я уже говорила, из Елисаветграда — и Зинаида Николаевна, и тетя Милица.

Моя прабабка мечтала выдать своих детей за дворян, и одна из ее дочерей, мать Милицы, вышла замуж за предводителя дворянства в Елисаветграде.

Во время Гражданской войны Нейгауз оказался в Киеве, начал преподавать, там у них и начался роман.

Генрих Густавович так описывал свой брак: «Сначала я заболел скарлатиной, и Зина за мной ухаживала. А потом она заболела, и ухаживать начал я. А потом родился Адик».

Расстались они в двадцатых годах. В 1927 году у них родился сын Стасик, а уже в 29-м появилась Милка, дочь Нейгауза от тети Милицы. В этот промежуток Борис Леонидович и влюбился в Зину, ради которой развелся с женой.

Сыновей Зинаиды и Генриха Густавовича Пастернак воспринимал как родных детей.

Стасик был красивый. А про Адика и вовсе говорили, что с него можно было писать греческого бога. Какое-то удивительное смешение Зининых жестких черт и черт Нейгауза. Огромные синие глаза, золотые волосы. На него оглядывались на улице, его писали художники.

Они жили на даче с Борисом Леонидовичем. «На даче спят два сына, как только в раннем детстве спят» — это Пастернак писал про Адика и Стасика. Но сам Стасик говорил: «Он был замечательный отчим, но все-таки отчим». Они обожали отца…

При этом Стасик до конца жизни не мог простить матери, что

она фактически отказалась от него. Зинаида Николаевна ведь взяла к себе Адика, а Стасик остался жить с Нейгаузом и тетей Милицей.

Тетя вспоминала, как на подмосковной даче купала в бочке Стасика и своего племянника Сережку. А Адик в это время был в Грузии, куда Зинаида Николаевна с Пастернаком уехали в свадебное путешествие.

Мне потом жена Стасика Галя рассказывала, что он долго не мог назвать Зинаиду Николаевну «мамой». Говорил: «Она предала меня».

Почему Зинаида Николаевна ушла к Пастернаку? Тайна женского сердца.

А потом Генрих Густавович изменял ей, безусловно. Он даже говорил: «Пытался скрыть от жены, но все равно узнала. Сказала только: „Какой у тебя вкус, если ты встречаешься с этой женщиной?!“»

* * *

Так получилось, что семейная жизнь Бориса и Зинаиды Пастернак началась в Грузии.

И там же, очень скоро после расставания с Зинаидой и женитьбе на Милице, у Генриха Нейгауза появилась фактически вторая семья.

О том, что великий пианист и профессор приезжает в Тбилиси к преподавателю музыкального училища Людмиле Погосовой, знал весь город. Да и сам Нейгауз, кажется, не делал из этого большого секрета.

В Тбилиси он часто приходил на уроки к Людмиле, слушал ее учеников и неизменно прямо говорил все, что думает о способностях или отсутствии оных у того или иного воспитанника. Некоторые из них до сих пор с содроганием вспоминают весьма нелестные сравнения, которыми их награждал Генрих Густавович.

Его наиболее знаменитыми учениками считаются Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер. Но для самого Нейгауза самым любимым был все-таки Рихтер. По крайней мере, бывая в Грузии и встречаясь со студентами музыкального училища и консерватории, Генрих Густавович говорил только о нем, именно его ставил в пример.

Хотя, когда Нейгауза попросили назвать величайшего пианиста XX века, он ничего не ответил. И процитировал гениального скрипача Исаака Штерна, который на аналогичный

вопрос, только о скрипаче, ответил, что «первых много. А вот второй — Давид Ойстрах».

И это, наверное, самый точный ответ. Есть вещи, которые нельзя измерить с помощью линейки. Определение лучших в искусстве равнозначно разрешению дилеммы, кто более гениален — Бах или Бетховен, Моне или Ренуар, Толстой или Достоевский…

* * *

Рихтер был не просто любимый ученик Нейгауза. Он был главный пианист всего Советского Союза.

И сегодня, когда о том или ином музыканте прошлого мы можем судить лишь по записям, объективного ответа на вопрос о том, кто был более великим, дать невозможно.

Имя Рихтера всегда было на слуху, ему поручали самые ответственные выступления, он сделал, пожалуй, наибольшее количество музыкальных записей. При этом, правда, Рихтер никогда не был официальным (читай — приближенным к властям) музыкантом. И за то, как сложилась его жизнь, он мог быть благодарен только Судьбе, пославшей ему такого учителя, и самому себе. Потому что стать первым, согласно чьему-то распоряжению, можно, а вот любимым — никогда.

А Рихтера безусловно любили. Везде, куда бы он ни приезжал. И, конечно же, Нейгауз не мог не гордиться этим.

Несколько раз они вместе оказывались в Тбилиси. Милица Сергеевна и Нина Львовна оставались в Москве, и Нейгауз с Рихтером могли вкушать все радости свободной жизни.

Правда, Генрих Нейгауз и в Тбилиси оставался человеком семейным. Каждый вечер он возвращался к Людмиле Погосовой.

Их отношения продолжались не один десяток лет и закончились только в 1964 году со смертью Генриха Густавовича.

* * *

Тетя Милица тоже знала об изменах и увлечениях Нейгауза и все прощала. Она была для него идеальной женой. Иногда Генрих Густавович говорил ей: «Ну сними же свои розовые очки, нельзя быть такой наивной». Хотя порой именно эта наивность помогала сохранить мир.

Нейгауз был непростым человеком, очень экспансивным — то смеялся, то плакал. И когда он совсем уж выходил из себя, тетя Милица говорила: «Ну-ну, хватит, а то мы сейчас все взлетим на

воздух!»

Зинаида Николаевна была прекрасна загадочной суровой красотой.

А еще была отличной хозяйкой. У Бориса Леонидовича — а он любил порядок — всегда был вкусный стол, такого замечательного борща я больше нигде не ела. Обед подавался строго в положенное время.

Как-то день рождения Пастернака совпал со страшным разгромом, начавшимся после присуждения ему Нобелевской премии. Как его только не называли в газетах, фраза «лягушка в болоте» была самой безобидной. А приглашения гостям были разосланы. Многие артисты Художественного театра его получили, Борис Леонидович был очень дружен с этим театром. И все они звонили потом Генриху Густавовичу и по разным причинам — то жена заболела, то что-то еще — отказывались от приглашения. И просили передать это Пастернаку.

В результате в Переделкино не приехал никто. Первая жена композитора Прокофьева позвонила и прямо сказала: «Я не могу рисковать жизнью своих сыновей».

Тогда-то Нейгауз и предложил мне поехать вместе с ним. Я пыталась отказаться, меня же не приглашали. Но Генрих Густавович успокоил: «Не беспокойся, сегодня никого там не будет». И точно, вместо 15 приглашенных за столом сидели только мы, дети Пастернака и еще кто-то из консерватории.

Я запомнила те именины. Стол был расположен буквой «П». Пили коньяк, который был налит в специальные графинчики. Готовила домработница, вышколенная Зиной. (Она ненавидела Зинаиду Николаевну и обожала Бориса Леонидовича.) Пастернак, одетый в свою серенькую куртку, то и дело подходил к окну и говорил: «Зиночка, по-моему машина остановилась у нашей калитки». На что Зинаида Николаевна отвечала: «Дура-а-к, да кто к тебе приедет сегодня!»

Она ему говорила все, что думала. Ни о каком почтении и речи не шло! Когда он читал ей свои произведения, могла сказать: «Ты больше бы про людей писал, все лучше было!»

Когда началась травля Пастернака после выхода «Доктора Живаго» за границей, Зина ему откровенно говорила: «Ну, теперь с хотя бы видимым благополучием покончено. Тебя и печатать больше не будут».

Так что, можно сказать, в какой-то мере она его еще и попрекала.

Но любовь есть любовь.

* * *

Увы, но самый тяжелый период в жизни Пастернака действительно начался после мирового триумфа — присуждения Нобелевской премии.

Хотя и до этого сладкой и безоблачной жизнь Бориса Леонидовича никак не назовешь.

В его жизни было все. Но самое страшное случилось тогда, когда, казалось бы, только и должно было начаться самое прекрасное.

Зинаида Николаевна в своих мемуарах подробно описывала жизнь семьи в «посленобелевский период». После присуждения Нобелевской премии власти требовали, чтобы Пастернак уехал за границу. На семейном совете жена неожиданно поддержала эту идею. Пастернак не ожидал. «Он был удивлен и спросил меня: „С тобой и с Леней?“ Я ответила: „Ни в коем случае, я желаю тебе добра и хочу, чтобы последние годы жизни ты провел в покое и почете. Нам с Леней придется отречься от тебя, ты понимаешь, конечно, что это будет только официально“. Я взвешивала все. За тридцать лет нашей совместной жизни я постоянно чувствовала несправедливое отношение к нему государства, а теперь тем более нельзя было ждать ничего хорошего. Мне было его смертельно жалко, а что будет со мной и Леней, мне было все равно. Он отвечал: „Если вы отказываетесь ехать со мной за границу, я ни в коем случае не уеду“…»

* * *

Зинаида Николаевна была очень хорошая хозяйка. В доме были, конечно, помощницы. Но следила за всем она — когда завтрак накрывать, когда ужин подавать. Домработницы ее боялись. У нее в доме был тот порядок, который требовался Борису Леонидовичу.

Он очень любил аккуратность. Я была в его кабинете на втором этаже: полки с книгами, рукописи и все в идеальном порядке.

Пастернак любил Зину. Сердцу же не прикажешь…

До начала травли к Пастернаку любили приезжать гости. В Переделкино я несколько раз встречалась с первой женой композитора Сергея Прокофьева Мирой. Самого Прокофьева я видела только один раз, на концерте. А Миру часто. Видно, она была очень хорошенькой в молодости. Она считала себя дамой высшего круга и хотела все получить вне очереди.

Как-то мы вместе оказались на Киевском вокзале, откуда должны были на электричке ехать в Переделкино к Пастернаку.

Борис Леонидович привечал Миру, он вообще всегда сочувствовал брошенным женам. За билетами в кассу стояла большая очередь, и Мира попробовала купить билет без очереди. Толпа тут же начала роптать. А Мира громко ответила: «Я знаю, что вы про меня думаете! Но я не еврейка, я португалка!» Она черненькая была. Очень непосредственная женщина.

Жила в одном доме с Генрихом Густавовичем Нейгаузом. От Прокофьева у нее было двое сыновей. Из-за страха за них она тогда и отказалась приехать на день рождения Пастернака. Но ее никто за это не осуждал.

И сегодня, когда начинают клясть какого-то человека за его поступки, я всегда прошу вспомнить о том режиме, при котором он жил, и о его семье, о которой ему приходилось думать…

Не подумайте, что я говорю, будто была так дружна с Борисом Леонидовичем, что каждое воскресенье ездила к нему в Переделкино. Бывала там, когда меня брал с собой Генрих Густавович.

* * *

В Переделкино я виделась и с пианисткой Мариной Юдиной.

Она была очень интересным человеком. И выдающейся пианисткой.

Однажды концерт Моцарта в ее исполнении по радио услышал Сталин. Игра Юдиной произвела на него такое впечатление, что он позвонил в Радиокомитет и спросил, есть ли пластинка с записью концерта, который он слушал.

Разумеется, ему ответили, что такая запись есть. И также естественно, что на самом деле никакой записи не было. Ее осуществили за одну ночь и утром отправили пластинку Сталину.

Тот еще раз прослушал ее и распорядился выдать Юдиной 20 тысяч рублей. В ответ Марина Юдина прислала вождю письмо, в котором написала, что отдала все деньги в церковь. А сама будет молиться, чтобы Бог простил великие прегрешения Сталина, который уничтожает собственный народ. Удивительно, но никаких репрессий в адрес Юдиной не последовало.

Мы спрашивали потом у нее, как она решилась так смело написать Сталину? А Юдина ответила, что иначе просто не могла поступить.

Она была ревностной православной христианкой. Запугать ее было невозможно. На улице при встрече кланялась священнику так истово, что тот не знал, куда от нее деваться. Выходила на концерты с крестом на груди. Удивительным была человеком…

* * *

Как-то во время одного из вечеров у Нейгауза Пастернак поделился своим соображением, почему его пощадил Сталин.

Оказывается, так совпало, что в дни, когда у вождя умерла жена Надежда Аллилуева, у Бориса Леонидовича вовсю развивался безумный роман с Зиной. Узнав о гибели Аллилуевой, Пастернак, на минуту представив себе, что значит потерять молодую красивую и любимую жену, попытался понять, что должен был чувствовать Сталин. И написал ему письмо: «Хоть мы с вами находимся на разных полюсах, есть вещи, которые нас роднят. Я всею душой с вами, сочувствую вам от всего сердца». Он выразил это так, как мог выразить только Пастернак. И Сталин, который прекрасно знал, как на самом деле умерла его жена — с его помощью или, во всяком случае, при его моральном участии, подумал, наверное: есть же человек, который мне верит.

Очевидно, это и спасло Пастернака. Сталин сказал: «Оставьте его в покое, он небожитель».

* * *

Последней музой Пастернака и даже прообразом Лары из «Доктора Живаго» принято считать Ольгу Ивинскую.

Какие отношения были у Пастернака с ней на самом деле? О, это была его последняя страсть. Я ведь видела эту женщину.

Первый раз это произошло, когда в Москву приехала Анна Ахматова и, остановившись в Замоскворечье на квартире у Ардовых, попросила Бориса Леонидовича прочесть ей первую часть «Доктора Живаго», о которой уже тогда было известно, что он ее написал.

Как сейчас помню, Анна Андреевна была в темном платье и белой шелковой шали. Вся преисполненная достоинства. Чувствовалось, что перед вами королева. Хотя она была довольно приветлива.

В тот же вечер Пастернак хотел показать эту часть романа сотрудникам журнала «Новый мир», которые тоже были приглашены на Ордынку. И которые первую часть «Доктора Живаго» абсолютно одобрили.

С Борисом Леонидовичем пришла нежная, розовая, молоденькая блондинка. Знаете, как описывают нэпманских пишбарышень (то есть секретарш. — *Ред.)*. Худенькая такая, очень хорошенькая. На Бориса Леонидовича смотрела с обожанием.

Мы с Генрихом Густавовичем там тоже были. И когда Нейгауз

сделал какое-то свое замечание, вроде: «Боря, ты не прав», Ивинская почти пропела: «Борис Леонидович не может быть не прав!» И это было не просто полное поклонение. Я молодая еще была, но смогла понять, что за этим стоит что-то значительно большее. Пастернак был счастлив.

Ахматовой первая часть «Доктора Живаго» понравилась. Она сказала: «Мне очень нравится, в особенности описания природы». Помните, в первой части «Доктора Живаго» есть много описаний природы? А заканчивается она появлением Лары. Так что Ивинская прообразом Лары, как потом многие говорили, быть никак не могла.

Пастернак описал в начале романа эпизод из реальной жизни Зинаиды Николаевны. Ее в поезде тоже соблазнил какой-то дальний родственник.

Выходит, стихотворение «Свеча горела на столе» никак не могло быть посвящено Ивинской. Оно было написано раньше. Я слышала его уже у Ардовых, когда Борис Леонидович только-только познакомился с Ивинской.

* * *

Вера Ивановна, откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза, с видимым наслаждением прочла по памяти:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Однако, несмотря на роман с Ивинской, которого он не скрывал, с Зинаидой Николаевной Пастернак не разводился.

Когда начался его разгром и Хрущев хотел, чтобы Борис Леонидович уехал за границу, Зинаида Николаевна сказала: «Боря, ты как хочешь, а мы с детьми никуда не поедем. Это наша страна». Да он и сам не хотел уезжать. Он был очень православный человек, очень верующий.

Но влюблен в Ивинскую Борис Леонидович был сильно. Она даже поселилась в деревне, расположенной неподалеку от его переделкинской дачи.

Кстати, в первый раз она была осуждена не из-за связи с Борисом Леонидовичем, как опять-таки принято считать, а из-за махинаций в редакции журнала «Огонек», где работала. А вот во второй раз она сидела уже действительно за роман «Доктор Живаго».

Забавно, если здесь применимо это слово, что, когда я пришла в камеру после ареста, мне сказали: «А здесь только что сидела жена Пастернака». Я испугалась:

— Как, Зинаиду Николаевну арестовали?

— Какую Зинаиду Николаевну? Ольгу Всеволодовну!

Оказалось, что Ивинская все отношения Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны расписала как события своей собственной жизни. Она ведь была человек патологически лживый. Даже в камере подробно расписывала свою жизнь с Борисом Леонидовичем: что у них двое детей, как они проводили время на курорте, как он ее обожал, какая у них собачка. Впрочем, это было, может, и невинно.

А вот потом за ней появились уже действительно нехорошие вещи. В лагере она почему-то находилась на привилегированном положении. А еще ей передавали вещи для пересылки заключенным, которые она присваивала. Это обнаружила Лидия Чуковская, дочь Корнея Чуковского.

Анна Ахматова возмущалась этим и говорила, что обо всем надо рассказать Пастернаку. На что Лидия Корнеевна мудро заметила: «Он этому все равно не поверит. Она в слезах бросится к нему и скажет, что ее оболгали».

Мне Ивинская была резко антипатична. Во-первых, своим чрезмерным показным обожанием. Когда мы в тот раз уходили с Ордынки и Нейгауз позвал Бориса Леонидовича в гости, Ивинская как бы случайно прижалась к нему, и он не пошел с нами. Генрих Густавович тогда сказал: «Ну нет, я вижу, здесь магниты посильнее!»

Эта книга не претендует на статус учебника истории XX столетия.

Но воспоминания Прохоровой — уникальные и беспристрастные — очень даже помогают понять то время, которое подарило миру величайших и гениальных художников.

Когда я пытался пересказать друзьям что-то из услышанного в доме Прохоровой, они, случалось, недоверчиво произносили: «А ты уверен, что все это правда?»

Я обижался, так как ни разу не ставил слова Веры Ивановны под сомнения. И, уверен, был прав. Потому как, читая, например, воспоминания Зинаиды Николаевны, слышал одинаковую интонацию о той же Ивинской, что звучала у Прохоровой.

Жене Пастернака, казалось, сам Бог велел не жаловать последнее увлечение супруга. Но ее мемуары об Ивинской слишком уж бьют своей откровенностью, чтобы воспринимать их просто как сведение счетов.

Ивинская появилась в жизни Пастернаков в 1948 году. На тот момент она была секретаршей Константина Симонова. «Она сообщила, что вдова, ее муж повесился и у нее двое детей: старшей девочке двенадцать лет, а мальчику пять. Наружностью она мне понравилась, а манерой разговаривать — наоборот. Несмотря на кокетство, в ней было что-то истерическое. Она очень заигрывала с Борей».

О том, что у мужа отношения с Ивинской, Зинаида Николаевна не только знала, но и по-своему оправдывала их. «У меня было чувство вины, и до сих пор я считаю, что я во всем виновата. Моя общественная деятельность в Чистополе и в Москве затянула меня с головой, я забросила Борю, он почти всегда был один, и еще одно интимное обстоятельство, которое я

не могу обойти, сыграло свою роль. Дело в том, что после потрясшей меня смерти Адика мне казались близкие отношения кощунственными, и я не всегда могла выполнить обязанности жены. Я стала быстро стариться и, если можно так выразиться, сдала свои позиции жены и хозяйки».

* * *

После моей реабилитации я часто бывала у Бориса Леонидовича. Для него тот, кто сидел в лагере, являлся желанным гостем.

Как-то я пришла, а у него были иностранные журналисты. Зинаида Николаевна обратилась ко мне с просьбой: «Вера, вы будете мне переводить, мало ли что он скажет». Борис Леонидович хорошо говорил по-немецки, и она не могла понимать беседу.

Помню, корреспонденты спрашивают его: «Вы читаете газеты?» Пастернак отвечает: «Нет, это моя жена читает». И он был искренен, а не потому что чего-то боялся. Он действительно не читал газет. Я даже не могу представить Бориса Леонидовича с газетой. Он жил своим миром, хотя, конечно, понимал, что происходит в стране.

Зинаида Николаевна тут же меня спрашивает, что он сказал. Я перевела. «Правильно, все точно, — кивнула она. — Он не читает, а я все читаю про нашу жизнь. Так, что еще он сказал?»

На словах она любила советскую власть, говорила, что Сталина надо уважать. Хотя в душе, наверное, все это терпеть не могла.

В тот же вечер к Пастернакам пришла Людмила Ильинична, вдова писателя Алексея Толстого. Известнейшая в Москве стукачка. Зина была в ужасе — как с ней поступить, тут же иностранные журналисты находятся. А Борис Леонидович спокойно сказал: «Не бойтесь, Зиночка, приглашайте ее» — и громко, на весь стол, произнес: «Людмила Ильинична — нам друг, и ничего дурного она нам не сделает».

Хотя никаким она другом не была и пришла, чтобы разведать, что за машины стоят возле дачи Пастернака.

* * *

В Зинаиде Николаевне мне нравилась ее прямота. Она, например, отчаянно ругалась со своей невесткой Галей, которая

была женой Стасика, ее сына от Нейгауза.

А когда заболел Борис Леонидович, невестка, которая ненавидела Зинаиду (и это было взаимно), признала: «Вера, я удивилась, когда он заболел, — это был рак, который требовал сложный уход, в том числе и гигиенический, она сказала, что все будет делать сама. Я не могла себе представить, что она будет так ухаживать. Зинаида Николаевна никого не подпускала к мужу, все делала сама — готовила, убирала, стирала».

И даже предложила [Пастернаку], имея в виду Ивинскую: «Если ты хочешь, чтобы к тебе приходили из деревни, я уеду на нашу московскую квартиру». На что Борис Леонидович ответил: «Не нужно, теперь это совсем лишнее».

Он понял, что основа основ — это семья. А все остальное — страсть, которая перед смертельной болезнью была ему чужда.

* * *

Только на похороны Ивинская пришла. Но они не стояли с Зинаидой Николаевной вдвоем у гроба, что вы…

Ивинская сидела на крыльце. Наверное, она переживала, — я не стану залезать в ее душу. Но это была такая демонстрация: вот я горюю, сижу в черном, а меня не пускают в дом. Зинаида Николаевна на нее никак не реагировала.

Похороны Пастернака официально не были запрещены. Рихтер играл Шопена, Бетховена. А Галич написал: «Тебя хоронили, и играли лабухи». Хотя играли Рихтер и Юдина.

Светик сидел за фортепиано у окна, а в него все время лезли какие-то морды. Но он не обращал внимания на них.

Я с Борисом Леонидовичем смогла проститься накануне. Очень благодарна Зинаиде Николаевне за ее звонок: «Вера, если хотите, приезжайте. С девяти утра до трех дня мы пускаем всех, а с трех до пяти часов устраиваем в панихиде перерыв. Вы можете приехать в эти два часа».

Я имела возможность остаться наедине с Борисом Леонидовичем, когда он был в гробу. Не забыть прекрасное, красивое, благородное лицо вдохновенного человека — певца и воина. Резкие черты сгладились, а вдохновение осталось. Это редкое явление.

Я провела наедине с Пастернаком с полчаса. Его глаза были закрыты, но казалось, что он все равно смотрит нас и вроде как благословляет. Было светлое впечатление. На его лице лежала печать божьего вдохновения.

Я говорила ему: «Борис Леонидович, вы ушли. Но какое

счастье вы дали многим людям — своей добротой, отношением ко всему. Спасибо вам большое».

На похоронах было много местных старушек. Я спросила у них, знали ли они покойного. «Как не знали, — ответили они. — Он каждый месяц помогал нам деньгами».

Гроб стоял в доме. Там было два хода — черный и через парадное крыльцо. Вы входили в небольшую комнату, проходили в большую столовую, где у окна стоял гроб и, простившись, через кухню выходили на улицу.

Гроб несли на руках до самой могилы. Народу было море. Хотя многие братья-писатели побоялись прийти.

Очень демонстративно ходил Паустовский, он же говорил речь. Из деревни пришли бабки, которые голосили по-народному И искренно переживали его уход.

Я приехала с отчимом Юры Нагибина. У Юрки сердечный приступ случился, когда он узнал о смерти Пастернака. Он трепетно любил Бориса Леонидовича. Но не был на похоронах, так как лежал дома. А муж его матери, Яков Семенович Рокачев, взял машину, и мы поехали, я была с племянником Сережкой.

Машины останавливались на улице в полкилометре от дома. Чтобы не привлекать внимания. И к дому уже шли пешком.

Гроб был дубовый. Не красный, боже упаси. Цветов было столько… Кто-то написал: «Как будто все цветы на свете навстречу этой смерти расцвели, и стало тихо на планете…» Эти строки приписывали Ахматовой…

Я никогда не забуду: когда открытый гроб подняли перед могилой, вышло солнце. Помню лицо Бориса Леонидовича. Удивительное, прекрасное лицо, все черты которого очень смягчились.

Говорили, что в нем было что-то от коня. А мне показалось, что скорее от индейца, от какого-то воина.

Он лежал с такой спокойной улыбкой, загорелый, с выражением покоя от того, что ушел наконец на вечный отдых, ушел, оставив эту действительно горестную землю.

И его окружали сирень, жасмин, васильки, лилии…

* * *

На другой день после рассказа Веры Ивановны о Пастернаке мне в руки попался удивительный сборник со всевозможными документами, касающимися деятельности ЦК КПСС — тогдашнего верховного правителя страны. Среди прочего была там и информация о похоронах Бориса Пастернака.

Язык этого документа, его стиль и формулировки, как мне представляется, являются весьма красочной иллюстрацией той эпохи, о которой говорит Прохорова. А посему позволю себе привести здесь выдержки из «Информации Отдела культуры ЦК КПСС о похоронах Б. Л. Пастернака от 4 июня 1960 г.»:

«В ночь с 30 на 31 мая с. г. на даче в пос. „Переделкино“ (под Москвой), на 71-м году жизни, после тяжелой болезни (инфаркт сердца, злокачественная опухоль) скончался писатель Б. Л. Пастернак.

В течение последнего месяца к больному были прикреплены врач и медицинская сестра из Центральной поликлиники Литфонда СССР, организованы консультации крупных специалистов различных областей медицины…

Второго июня на похороны Пастернака, состоявшиеся в соответствии с его пожеланием на кладбище в Переделкино, собралось около 500 человек, в том числе 150–200 престарелых людей, очевидно, из числа старой интеллигенции; примерно столько же было молодежи, в том числе небольшая группа студентов художественных учебных заведений, Литинститута и МТУ.

Из видных писателей и деятелей искусств на похоронах присутствовали К. Паустовский, Б. Ливанов, С. Бирман…

Ожидалось выступление К. Паустовского и народного артиста СССР Б. Ливанова. Однако оба они в последний момент выступить отказались, сославшись на нездоровье.

У могилы выступил искусствовед проф. Асмус. Он говорил о Пастернаке как о гениальном переводчике и писателе, заявив в заключение, что пока на земле будет существовать русский язык и русская поэзия, будет жить имя Пастернака.

Асмус объявил траурный митинг закрытым. Однако в то время, когда опускали гроб, один из молодых людей поднялся на холм и начал произносить путаную речь, в которой назвал Пастернака „гениальным“, „великим“ и т. п. и закончил тем, что „учение Пастернака о любви к человеку должно рассыпаться бисером по земле и попасть в душу каждого жителя…“

Из толпы раздался выкрик: „Хочу сказать от имени рабочих…“, и далее молодой человек „стиляжного“ типа начал кричать истошным голосом примерно следующее: „Пастернаку, этому великому писателю, не дали в нашей стране издать свою книгу… Ни одному советскому писателю не удалось подняться до таких высот творчества, как нашему дорогому Пастернаку…“

Человек 15–20, стоявших рядом, зааплодировали, однако большинство присутствовавших отнеслось к его выкрикам неодобрительно. Одна из женщин, стоявшая с ребенком на руках,

громко сказала: „Какой же это писатель, когда он против советской власти пошел!“

После того как гроб был предан земле, большинство публики покинуло кладбище. У могилы осталась небольшая группа молодежи. Здесь читались стихи, посвященные Пастернаку, но не содержавшие политических выпадов. С чтением своих стихов выступил, в частности, выпускник Литинститута Харабаров, исключенный недавно из комсомола.

Собравшиеся на похороны иностранные корреспонденты были разочарованы тем, что ожидавшегося ими скандала и сенсации не получилось и что не было даже работников милиции, которых можно бы сфотографировать для своих газет.

В заключение следует сказать, что попытки использовать похороны Пастернака для сенсации и возбуждения нездоровых настроений успеха не имели.

То, что наша литературная печать не дала некролога о Пастернаке, ограничившись сообщением от имени Литфонда, было правильно воспринято в кругах художественной интеллигенции.

Следовало бы вместе с тем обратить внимание Союза писателей и Министерства культуры на необходимость усиления воспитательной работы среди творческой молодежи и студентов, часть которых (количественно ничтожная) заражена нездоровыми настроениями фрондерства, пытается изобразить Пастернака великим художником, не понятым своей эпохой.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС А. Петров.

Зав. сектором Отдела И. Черноуцан».

* * *

Во время прощания с Борисом Леонидовичем Ивинская обращала на себя внимание. Она растолстела невероятно, и в день похорон Пастернака сидела на ступеньках крыльца их дома… как-то очень демонстративно…

Не могу сказать, что Зина мне сильно нравилась, но она невольно производила впечатление какой-то личности. Может быть, отчасти неприятной. Она легко могла сказать какой-то антикомплимент.

Но в ней было прямое начало, часто резкое, но абсолютно честное.

Зинаида Николаевна была железным человеком, для которой порядок и долг были на первом месте.

После смерти Пастернака переделкинская дача осталась у Зинаиды Николаевны. Сын Бориса Леонидовича от первого брака

сказал, что у его семьи нет никаких имущественных претензий.

Потом на этой даче жил Стасик.

Сразу после войны он поехал в Париж на конкурс пианистов и очень хорошо выступил. Но у него была немецкая фамилия, и ему ничего не дали. И это сломило его. Хотя, говорят, он играл более чем замечательно.

Кстати, тогда из Парижа Борису Леонидовичу он привез красивую серую куртку, которую тот очень любил.

У детей Зинаиды Николаевны оказалась трагичная судьба. Стасик был очень застенчив от природы. После того провала в Париже начались его первые запои. На переделкинской даче Стасик и умер.

Там же, в Переделкино, на территории дачи, был похоронен и Адик, который умер от туберкулеза совсем молодым еще во время войны.

Леонид — общий сын Зинаиды и Бориса Леонидовича — тоже умер молодым. Он родился в 1938 году, как раз били куранты. Он тоже был очень приятен внешне, такой «смягченный» Борис Леонидович.

Говорили, что он умер из-за опубликованных воспоминаний Ольги Ивинской. Но это неправда. У Лени всегда было слабое сердце.

Сегодня я живу в одном доме с сыном Бориса Леонидовича. Как все, однако, связано в этой жизни…

* * *

Работая над этой книгой, я то и дело задавал себе вопрос, правильно ли поступаю, отдавая главенствующее место в ней монологам Прохоровой. Может, разумнее было бы просто записать мемуары Прохоровой без своих ремарок или, наоборот, описать жизнь и встречи Веры Ивановны своими словами?

И вообще, что такое монолог? Форма интервью без вопросов или же литературная фотография, этакий мгновенный отпечаток, который, запечатлевает лишь самое главное?

Сомнения разрешил Борис Леонидович, высказывание которого попалось мне на глаза, когда я после воспоминаний о нем Веры Ивановны решил уяснить для самого себя, кем же на самом деле была в его жизни Ольга Ивинская.

«До 1936 года, — говорил Пастернак, — я думал, что монологи — это театральный прием, когда персонаж говорит сам с собой для зала, а в 1936 году понял, что это не совсем так. Для меня вдруг стало очевидно, что я смогу говорить правду только

самому себе».

Лучше и точнее не скажешь!

В своих монологах, произнесенных во время этих встреч Сивцевом Вражке, Прохорова обращалась прежде всего к себе, вспоминая правду, местами страшную, местами нелицеприятную, но каждый раз единственно возможную, потому что вариантов у нее не бывает, о собственной жизни и людях, сыгравших в ней главные роли. При этом, конечно же, понимая, что рядом с ней сидит человек с диктофоном.

Когда я начал записывать воспоминания Веры Ивановны еще и на видеокамеру, поначалу мне казалось, что Прохорова не обращает ни малейшего внимания на появление в беседе «третьего участника». Но потом не раз с удивлением замечал, как Вера Ивановна произносила какие-то монологи, глядя прямо в объектив…

Что же касается личности Ольги Всеволодовны, то мнения о последней любви Пастернака (в том, что это действительно было большое чувство, сомнения быть не может) сложились весьма противоречивые. С одной стороны, резкое неприятие Ивинской такими личностями, как Ахматова и Чуковская, с другой — потрясающий эпизод отчаянного поступка Пастернака, решившего свести счеты с жизнью и пожелавшего сделать это именно вместе с порицаемой одними и обожествляемой другими Ивинской.

В тот день Пастернак пришел к ней с упаковкой снотворного. «Давай покончим с собой, — обратился он к любимой женщине. — Я знаю, смертельная доза — 11 таблеток. У меня с собой 22. Ты не представляешь, какой поднимется крик и как мы насолим им всем!» В ответ Ивинская пошла в ЦК партии и заявила, что Пастернак думает о самоубийстве и ее склоняет к нему. «Делайте что хотите, а я умирать не собираюсь», — будто бы сказала Ольга Всеволодовна. И травля поэта начала утихать.

Меньше всего хочется делать какие-то выводы и давать оценки. Я предпочитаю оставаться фотографом, которому удалось сделать «мгновенный снимок» времени — просто честно и точно (впрочем, не одно ли это и то же?) записать слова своей удивительной собеседницы.

* * *

Зинаида Николаевна пережила мужа на шесть лет. Она умерла в 1966 году от той же болезни, что и Борис Леонидович — от рака легких.

* * *

В такой разной и одновременно схожей жизни Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны даже конец оказался одинаковым. Причем не только физический.

После смерти мужа вдова великого поэта оказалась фактически без средств к существованию. И была вынуждена писать бесконечные письма с просьбой назначить ей пенсию. В ее архиве хранится много писем, в том числе и черновик ее письма к генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, к которому она обращалась с просьбой «не оставлять в безвыходном положении», так как «очень тяжело на старости лет оказаться необеспеченной, без пенсии и не иметь уверенности в завтрашнем дне и не знать, как расплатиться с долгами».

Увы, но ни одно из обращений Зинаиды Николаевны к власть имущим, включая письмо другу Пастернака писателю Николаю Тихонову («Если у Вас есть возможность выяснить, почему на меня так плюют и не считают за человека, то выясните и черкните мне ответ»), ни к чему не привели.

При том что материальная сторона для нее была не важна. Больше всего ее волновала судьба творчества мужа. Самой главной темой оставался конечно же «Доктор Живаго».

Зинаида Николаевна была сильной женщиной, прямолинейной. И верной. Так, узнав о нападках на Пастернака, которого уже не было в живых, со стороны Михаила Шолохова, она пишет ему такое письмо: «Уважаемый товарищ Шолохов! Пишет Вам вдова писателя Пастернака. Как Вам не стыдно строить намеки на поступок Пастернака.

Чем Вы лучше Пастернака? Ваш герой Мелихов тот же прототип Доктора Живаго. Ваш Мелехов шатается от красных к белым и обратно, хотя он сам человек из народа. Доктор Живаго — интеллигент, и сам Бог велел то быть в восторге от красных, а потом ему становилось жаль белых. Вы поймите, что это очень близко, но Вам все разрешено, потому что Вы коммунист, а роман Пастернака называют клеветническим, потому что ему было не разрешено… Надо сказать, что я отнюдь не против „Тихого Дона“, но весь Ваш роман держится только на неустойчивом Мелихове. Не будь его, мухи бы дохли от скуки…»

У нее было свое мнение о романе «Доктор Живаго», и она отстаивала его, отчаянно споря с друзьями. Так, в мемуарах она описывает свой разговор с семьей актера Бориса Ливанова: «Несмотря на суровую критику Ливановых, я стала с ними спорить и доказывать, что в романе есть замечательные места. Ливанова сказала, что я слишком смело беру на себя оценки. Я рассмеялась и

ответила: по-моему, вообще было большой смелостью с моей стороны выйти за него замуж и прожить с ним тридцать лет. Некоторые удивились, что Лара — блондинка с серыми глазами, намекая на ее сходство с Ивинской. Но я была уверена, что от этой дамы он взял только наружность, а судьба и характер списаны с меня буквально до мельчайших подробностей».

* * *

Главный герой этой книги, повторюсь, Святослав Тих-тер. Но не только. В зону его света (недаром близкие называли его Светиком) попали самые большие личности ушедшего столетия. И настоящую главу, посвященную воспоминаниям о Борисе Леонидовиче и Зинаиде Николаевне, просто так закончить не получается.

Ибо в Грузии, благословенном месте, которое обожали все персонажи этой главы, мне довелось оказаться в доме знаменитого художника Ладо Гудиашвили, в котором бывали и Рихтер, и Пастернак.

Чукуртма — именно так назвал свою единственную дочь Гудиашвили (в переводе с грузинского это слово обозначает «узор») — хорошо знала и Святослава Теофиловича, и Бориса Леонидовича. Мало того, великий поэт был увлечен ею.

Конечно же, оказавшись в доме Гудиашвили, я не мог не обратиться к Чукуртме с просьбой рассказать о Рихтере и Пастернаке.

И если о музыканте она вспомнила не так много («Когда он садился к инструменту, то возникало ощущение, что он сейчас придвинет рояль к себе и положит его на колени»), то о Борисе Леонидовиче поведала целую историю.

* * *

«Помню ли я первое впечатление о Борисе Пастернаке? — рассказывала мне Чукуртма Гудиашвили. — Как можно его забыть? Но я не могу сказать, что запомнила момент — „вот, я его увидела“. Такого не было. Я все время помню, что он бывал здесь. Помню, какие вечера были в Доме писателей, какая дружба была с русскими поэтами. Помню, как потом они приходили сюда, как обсуждали свои стихи. Помню, как Коле Тихонову Борис Леонидович крикнул: „Коля, это было тогда, когда ты был поэтом!“ Папа многое рассказывал. И эта среда меня окружала.

Все были вместе. Настоящее тянулось друг к другу. Борис Леонидович ведь все свои жуткие годы провел в Грузии.

Было ли нам его жалко? Так нельзя говорить о Пастернаке. Точнее будет сказать, что мы боялись за него. А как можно жалеть гения? Он был блистательным переводчиком — как он Гете перевел, как он грузинскую поэзию перевел! Я уже и не знаю, кто лучше, — он или Бараташвили.

Из Москвы он все время нам писал, потом приезжал в Тбилиси, мы его встречали.

Благополучно у него в жизни никогда не было. Но тем не менее он был, безусловно, счастливым человеком. Хотя его все время прорабатывали, ругали, выходили статьи, что он тормозит развитие поэзии. Уже и не помню сейчас все эти страшные слова. Это тоже был ужас. Сегодня это уже история литературы, а тогда было страшной реальностью.

Был ли он веселым? Он был… Его часто сравнивают с арабским скакуном, в нем была его сила, скулы такие. Он был уверен в настоящем. Знал, как земля произошла, что такое солнце. Помните, стихотворение „Гамлет“?

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Разве можно такого человека жалеть? У него в руках была гениальность. Он был сеятелем великого.

Я видела много гениальных людей. И знаете, у них есть одна отличительная черта. Это спокойствие, величие и простота. Я

думала сначала, что все такие, как Борис Леонидович, как Галактион Табидзе, как Гогла Леонидзе. Мне казалось — как можно мучаться, создавая что-то?

Знаете историю, как один поэт подал тетрадку своих стихов Пушкину и сказал: „Александр Сергеевич, это мои стихи. Я так мучался, когда их писал“. Пушкин повернулся к нему и ответил: „Так вы не пишите!“

Находиться рядом с Борисом Леонидовичем было большим удовольствием. Это как когда вы смотрите на великую картину и получаете удовольствие. Это было наслаждение. Ты даже не понимал, в каком времени находишься. Не задумывался, правду он говорит или нет. Ты просто соглашался с ним и видел законы жизни.

Но для меня это не было чем-то из серии „Я была с Пастернаком!“, нет. Я же жила с таким человеком, как папа. Он сам был таким.

Сам роман „Доктор Живаго“ Пастернак нам не давал. Мы прочли его уже потом, через несколько лет. Там есть какие-то вопросы очень интересные, но чтобы сказать, что это моя настольная книга — не могу.

Пастернак ведь приехал в Грузию спасаться, когда началась травля из-за Нобелевской премии. Все свои тяжелые моменты, когда его готовы были растерзать, он проводил в Грузии в семье поэта Тициана Табидзе. И бывал у нас в доме. Он очень уважал и любил маму и папу. Это были какие-то другие отношения. Он считал часы, проведенные здесь, временем в ином пространстве.

Мне было 18 лет, и я присутствовала на этих вечерах. Я как-то преклонила перед ним колени и произнесла тост. И что-то возникло. У нас началась переписка. Он присылал мне все свои издания с необыкновенными надписями. Это переходило обыкновенные границы. Но я была почти ребенком, и он, уважая папу, не хотел перешагнуть через какой-то рубеж. Но я получала поразительные письма, на которые конечно же отвечала. Когда перед смертью ему было очень плохо, я ему послала бутылку красного вина для причащения и серебряную пиалу. Я не была в Переделкино, но думаю, что ему это передали.

Из-за этой травли у Пастернака и случился рак. Но дряхлости у него не было. Он стариком никогда не был. Как и мой отец. Даже в возрасте 84 лет Ладо не был стариком, у него сохранились юношеские порывы. И Борис Леонидович стариком не был, он был уязвим и на здоровье его это отразилось. „Вот что они со мной сделали“ — такого он никогда не говорил. Он улыбался, говоря про травлю. Трясучки не было. Мог сказать разве что: „Ну что же это такое!“

Поздравили ли его мы с Нобелевской премией? Его всегда поздравляли, всегда чтили. Да и что была Нобелевская премия? Квинтом существования она не была. Папа сказал ему: „Борис, не стоит огорчаться по этому поводу. Ты и без Нобелевской премии велик“. Вот если бы Пушкину дали Нобелевскую премию, что бы изменилось? Я, конечно, не сравниваю — Пушкин и Пастернак разные величины. Но просто были другие понятия.

Пастернак вообще был поразительным явлением. Среднего роста, но очень мужественный. Эти поразительные скулы, яркое мужское начало, горящие глаза. Когда мы встречались, я попадала в водоворот не то что чувств земных, а в какое-то другое пространство.

Он бывал и нежен. Но это не было какой-то сладкой и боязливой нежностью, нет. В нем всегда горел огонь, происходило какое-то варево. Он тоже был дистанционным. Попасть в его мир было счастьем. Но наши отношения не переходили границу земных. Все происходило в сфере волшебности, когда ты теряешь контроль, так как соприкасаешься с явлениями выше себя.

Вот смотрите, что нам подарил Борис Пастернак. Его в то время не печатали, и он сам на машинке набрал это. Стихи из романа в прозе. То, что потом вошло в „Доктора Живаго“. Как сейчас помню: он вошел в 12 часов ночи в эту комнату, а здесь собрались изумительные грузинские поэты, и сказал: „Не читайте стихов, прочтите только надпись“. И вот что он пишет: „Артистической чете Ладо и Нине, таинственной и гордой, от старающегося подражать им Бориса Пастернака, 7 марта 1947 года“.

Он присылал мне все книги с такими надписями, что я должна стоять у гроба его. Но… В нем знаете, что было? Он был очень высокого внутреннего нрава человек, и эта сторона наших отношений была другой. Видите, какая надпись? Борис Леонидович преклонялся перед Ладо.

Пастернак понимал, что он великий поэт. Безусловно, он знал ценность свою, чувствовал. Никто не мог его толкнуть, несмотря на всю его ужасающую судьбу. Он был неприкосновенен…»

* * *

Я начал рассказ о Пастернаке с истории его приезда в Грузию.

«Второе рождение», как потом писал сам поэт, началось на берегу Черного моря. Одно из его самых известных стихотворений, написанных в Кобулети, так и называется «Волны». И это не просто название. Это своего рода символ и объяснение всей жизни

самого Пастернака.

Здесь будет все: пережитое
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву…

Он и сам был как море. И, как стихию, его можно либо любить, либо не понимать, знать или до поры о нем просто не ведать.

Но, хотя бы один раз окунувшись в волны его простой и прекрасной (а одно, как считал Толстой, есть необходимое условие второго) поэзии, вряд ли возможно не стать добровольным пленником ее очарования…

Глава 4
Елена Сергеевна Булгакова

Линии жизни

Михаил Булгаков

Родился 3 мая 1891 года в Киеве в семье профессора Духовной академии. Был старшим из семерых детей.

Окончил медицинский факультет Киевского университета.

В 1921 году приезжает в Москву и начинает журналистскую карьеру в газете «Гудок».

Комната в знаменитом ныне «булгаковском» доме на Большой Садовой была предоставлена журналисту по личному распоряжению жены Ленина Надежды Крупской.

В 1926 году на сцене Художественного театра с триумфом идет его пьеса «Дни Турбиных». Частым гостем на постановке были члены советского правительства во главе со Сталиным.

С 1936 года работает в Большом театре, где пишет либретто к операм «Петр Первый» и «Минин и Пожарский».

Последняя пьеса драматурга «Батум», посвященная молодому Сталину, была поставлена лишь в 1990-х годах.

Скончался 10 марта 1940 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Елена Булгакова

Родилась 21 октября 1893 года в Риге.

Несколько лет отучившись в Рижской гимназии, забрала документы. И в дальнейшем занималась самостоятельным образованием.

Трижды была замужем.

Во втором браке родилось двое сыновей — Евгений и Сергей.

Домашние звали ее Тюпой.

Работала в редакции газеты «Известия».

Перевела с французского на русский роман Жорж Санд, опубликованный в издательстве «Иностранная литература».

Первый раз смогла выехать за границу в 1960-х годах. К тому времени во Франции и в Германии уже были опубликованы произведения Булгакова.

Автор «Дневников», которые вела до смерти Михаила Булгакова.

Умерла 18 июля 1970 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

* * *

Михаил Булгаков родился в Киеве в семье профессора духовной академии. Был способным молодым врачом и талантливым актером, которого в гриме как-то не узнал сам Станиславский.

Но в историю вошел конечно же как писатель и автор великого «Мастера и Маргариты». Этим обессмертившим его романом Булгаков во многом был обязан своему роману с Еленой Сергеевной Шиловской, урожденной Нюренберг.

Она родилась в Риге в семье простого учителя и дочери священника.

Ей было 19 лет, когда она получила предложение руки и сердца от молодого офицера Бокшанского. Словно чувствуя, что ее главная встреча еще впереди, Елена уговорила выйти за Бокшанского свою сестру Ольгу. И та под фамилией Бокшанская вошла в историю Московского Художественного театра, где долгие годы проработала секретарем Владимира Немировича-Данченко.

Сама Елена Сергеевна вышла замуж за сына знаменитого актера дореволюционной России Мамонта Дальского Юрия Неелова. Это был первый шаг по направлению к главной встрече в ее жизни. Кстати, сам Булгаков считал, что обязательно должен жениться три раза. Зеркальным отображением его устремлений стали и три брачных союза дочери учителя из Риги.

Неелов был офицером, и жена всюду сопровождала его.

Как-то Елену Сергеевну увидел командир Неелова Евгений Шиловский. Влюбился и, что называется, увел у мужа.

Елена Сергеевна вспоминала, что для того, чтобы получить разрешение на развенчание, они с Шиловским отправились к Патриарху Московскому и всея Руси Тихону. Ожидая выхода Патриарха, они столкнулись в приемной Святейшего с Максимом Горьким, который приходил попрощаться перед отъездом за границу.

Стоял 1921 год. И визит к Патриарху, равно как и отъезд за границу, еще не представлялся чем-то невероятным.

Благословение на развенчание было получено. Елена Сергеевна вспоминала, что Патриарх им еще и какой-то анекдот веселый рассказал. То ли о двоемужестве, то ли о двоеженстве.

Благополучная жизнь с Шиловским продолжалась семь лет.

Евгений Сергеевич был талантливым офицером, дослужился до звезд генерал-лейтенанта на погонах.

Родились двое сыновей — Евгений и Сергей.

Шиловские жили в большом генеральском доме, где их соседями были семьи, фамилии которых гремели на всю страну, —

Тухачевские, Уборевичи. Кстати, спустя много лет именно Елена Сергеевна помогла дочери казненного во время сталинских репрессий Уборевича написать мемуары об отце.

Но и брак с Шиловским оказался всего лишь очередной ступенькой к встрече с Булгаковым.

Благополучная, казалось бы, жизнь генеральской жены не делала Елену Сергеевну счастливой. В одном из писем сестре, всего через два года после заключенного по любви и истребованного у самого Патриарха брака, она напишет: «…я чувствую, что такая тихая семейная жизнь совсем не по мне. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но очень хочется…»

Отношения с Шиловским закончились после знакомства Елены Сергеевны с начинающим литератором Булгаковым.

Михаил Афанасьевич был беден, его почти не печатали. Но на сцене Художественного театра уже с громадным триумфом прошли его «Дни Турбиных». Конечно же, Елена Сергеевна была на спектакле. Да и Ольга Бокшанская не раз с восхищением говорила дома о молодом драматурге.

Этот союз многим казался странным — живущая в достатке, говоря сегодняшним языком, светская львица Москвы конца двадцатых годов вдруг принимает решение бросить все, отказаться от сына, который оставался с отцом, и связать свою жизнь с, по большому счету, никому не известным, да к тому же женатым писателем.

Но Елена Сергеевна сразу разгадала, кого ей послала судьба. И никакие генеральские лампасы с будущим бессмертием здесь конечно же тягаться не могли.

Они расписались на следующий же день после того, как Булгаков оформил развод со второй женой. Новый, оказавшийся главным и потому последним в биографии обоих брак продолжался всего восемь лет. Хотя кажется, что Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна вместе прожили всю жизнь. Может, потому, что они изначально были предназначены друг другу?

Елена Сергеевна стала идеальным спутником гениального писателя и драматурга, превратив само сочетание своих имени и отчества в нарицательное понятие идеальной жены художника.

В отличие от прототипа главной героини другого знакового романа XX столетия — «Доктора Живаго», сомнений в том, с кого Булгаков писал свою Маргариту, не возникает ни у кого. Елена Сергеевна настолько соединилась в читательском восприятии с образом Маргариты, что и ее саму стали наделять сверхъестественной силой.

Рассказывали, что однажды утром Елену Сергеевну пригласили

в редакцию журнала, где появилась возможность опубликовать один из рассказов Булгакова. Вдове писателя позвонили часов в десять утра, и уже через пятнадцать минут она переступила порог редакции.

Когда у нее спросили, как она сумела так быстро добраться, Елена Сергеевна ответила: «На метле!»

Она почти на тридцать лет пережила Булгакова. Замуж больше не вышла. Да и сами разговоры о том, что у вдовы Булгакова могли быть отношения с другими мужчинами, представлялись чем-то едва ли не вызывающим и оскорбительным. Хотя в реальности такие отношения были.

В 1939 году Елена Сергеевна увлеклась Александром Фадеевым, который бывал в доме Михаила Афанасьевича, чтобы помочь опальному писателю. Знаменитый искусствовед Виталий Вульф, друживший с актрисой Ангелиной Степановой, вдовой Фадеева, рассказывал мне, что у Ангелины Иосифовны менялось лицо, едва она слышала одно только имя Елены Сергеевны.

Но ревность в данном случае была совершенно излишня. Ибо главным мужчиной в жизни Елены Сергеевны все равно до конца оставался только Булгаков.

Когда в последние дни Михаилу Афанасьевичу становилось совсем плохо, он просил жену принести ему пистолет. Оружие должен был дать Евгений Шиловский, ее бывший муж.

Несмотря на довольно бурное расставание, во время которого советский генерал только что не вызвал нового избранника жены к барьеру, бывшие супруги продолжали общаться.

Во-первых, с отцом оставался один из сыновей Елены Сергеевны, которого, правда, и Михаил Афанасьевич воспринимал как родного. А во-вторых, генерал Шиловский был в высшей степени достойным человеком.

Когда ему предложили очередное воинское звание (и довольно высокое — генерал-полковник) в обмен на подписи в смертных приговорах, Шиловский, не раздумывая, отказался.

К счастью, плата за принципиальность оказалась довольно сносной — с золотых погон сняли всего лишь одну звезду и оставили на должности преподавателя в Академии Генерального штаба.

В ответ на просьбы умирающего Булгакова никакого пистолета Елена Сергеевна, разумеется, не принесла. Потому что у нее было свое оружие, с которым она могла побеждать невыносимую боль…

Вера Прохорова познакомилась с Еленой Сергеевной уже в последние годы жизни вдовы писателя. Хотя самого Михаила Афанасьевича и его жену видела еще в юности, когда те

прогуливались по улице Фурманова, с которым оказалась связана вся биография Прохоровой.

* * *

С Еленой Сергеевной меня познакомил Светик.

Это произошло после одного из его выступлений. За кулисами Рихтер подвел меня к очень красивой и довольно молодой, как мне показалось, женщине. Да и не мне одной это казалось.

Мой племянник Сергей, который жил тогда у меня, тоже сказал: «Какая прекрасная женщина!» Ему тогда было лет четырнадцать, и в нем как раз начал просыпаться интерес к противоположному полу. Так что кто-кто, а юноша ошибиться не мог.

Елене Сергеевне тогда было уже за шестьдесят, но выглядела она действительно молодо — ухоженная, черноволосая, статная, с большими золотыми кольцами серег, которые осмелилась бы надеть не каждая в ее возрасте. А в ней годы совсем не чувствовались.

Конечно же, я рассказала Елене Сергеевне, что мы раньше были с ней соседями по улице Фурманова, где они жили с Булгаковым аккурат напротив моего дома. И так, слово за слово, разговорились. И, смею сказать, стали друзьями.

Я часто бывала у нее в квартире на Суворовском, ныне Никитском, бульваре. Мы часами сидели на небольшой кухне, увешанной советскими агитплакатами, вроде: «Нигде, кроме как в Моссельпроме» и «Водка — твой друг, выпей ее!».

Елена Сергеевна очень хорошо готовила. И делала это удивительно красиво. Я обратила на это внимание, так как сама напрочь лишена кулинарного таланта.

А она могла приготовить вкусное блюдо из самых элементарных продуктов. Да что там, она брала обычный круг колбасы, бросала его на сковородку, поджаривала, а затем как-то элегантно выкладывала на тарелку, и получался деликатес.

Помню ее синие чашки, в которых лежал творог. Она предложила мне положить сверху чернику, потому что это очень вкусно и к тому же получится красиво.

В ней всегда чувствовалась радость жизни во всех ее проявлениях. В цветах, во вкусной еде, в сервировке.

И это Булгаков в ней страшно любил.

Мне потом какой-то знакомый Булгакова рассказывал, что в тот момент, когда началась травля писателя, тот переехал на

улицу Фурманова в бывший каретный двор, к которому надстроили страшнейшие два этажа.

Я тогда жила напротив них в доме номер 6.

Этот наш общий знакомый вспоминал: «Я поднимался на 4-й этаж, шел и думал: какой мрак, бедный Булгаков, как он тут живет?! А когда вошел, то увидел накрытый стол со стаканчиками чудесными, графинчик с водкой, салфеточки. Елена Сергеевна попросила подождать чуть-чуть, потому что Миша сейчас в ванной. Я подумал: „Обуржуазился Булгаков, ему это совершенно не нужно!“ И вдруг выходит Булгаков какой-то свежий, счастливый. И сама Елена Сергеевна что-то такое смешное стала рассказывать, о каком-то человеке, заснувшем в кустах, о лете. И я понял, что такая женщина была ему необходима, особенно в период гонений».

Но «сладкой» Елена Сергеевна никогда не была. Она спорила с Булгаковым очень. В ее любви не было этого умиления и попыток подпеть, подлизаться. Она была равной, никогда не прислуживала ему.

На момент нашего знакомства Елена Сергеевна похоронила старшего сына Евгения. И я удивлялась, почему она так спокойно об этом говорит.

«Просто я знаю, что мы с ним обязательно увидимся там», — объясняла она, указывая куда-то вверх.

Конечно же мы много говорили о Михаиле Афанасьевиче. Он был смыслом ее жизни, и она просто не могла не говорить о нем. Вспоминала, как он пошел работать в Художественный театр. Это случилось после звонка Сталина.

Во МХАТе он играл в «Записках Пиквикского клуба».

Я видела несколько раз этот спектакль. Блистательно было…

* * *

Из Дневника Елены Сергеевны

«Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают.

М. А. не поверил, решил, что розыгрыш (тогда это приделывалось, и взъерошенный, раздраженный взялся за трубку и услышал:

— Михаил Афанасьевич Булгаков?

— Да, да.

— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.

— Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом:

— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или — Михаил Афанасьевич — не помню точно).

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда — вас пустить за границу? Что — мы вам очень надоели?

М. А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил:

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами…

— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.

Но встречи не было. И всю жизнь М. А. задавал мне один и тот же вопрос: „Почему Сталин раздумал?“ И всегда я отвечала одно и то же: „А о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал после того твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах — разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художнику писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это?“

На следующий день после разговора М. А. пошел в МХАТ, и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление…

— Да Боже ты мой! Да пожалуйста!.. Да вот хоть на этом… (и тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М. А. написал заявление).

И его зачислили ассистентом-режиссером в МХАТ…»

* * *

Елена Сергеевна посвятила всю свою жизнь тому, чтобы роман «Мастер и Маргарита» был опубликован.

Роман, как известно, долго не печатали. И случилось так, что она дала прочесть роман секретарю Константина Симонова. Как ее звали, не знаю, она производила приятное впечатление. Та

пришла и сказала «Вы знаете, это совершенно не симоновское направление. Я бы не советовала ему отдавать роман, ему не понравится».

А это был год юбилея Симонова. Елена Сергеевна была приглашена на торжественный прием. В перерыве Симонов подошел к ней: «Елена Сергеевна, я знаю, что у вас есть роман Булгакова. Я бы очень хотел его прочитать».

Она ему ответила: «Вы знаете, люди, которые вас хорошо знают, читали роман и считают, что он не в вашем вкусе, вам не понравится. А так как каждый отказ для меня удар, я бы не хотела это еще раз испытать».

Симонов сказал: «Елена Сергеевна, я уезжаю на целый месяц в отпуск. Буду один. Я буду читать. Приеду и вам сразу позвоню. Я вас прошу, дайте, ну дайте мне почитать».

Елена Сергеевна дала. И весь этот месяц я очень часто встречалась с ней. Ей, наверное, было трудно ждать решения Симонова, она переживала.

Ее близкие друзья слишком хорошо знали ее историю, а со мной можно было говорить обо всем, потому что все было внове. Она рассказывала, и ей становилось легче.

Я узнала, как они встретились с Булгаковым, как подолгу разговаривали, и понимали, что не просто симпатизируют друг другу…

А через несколько дней у нее раздался телефонный звонок от Симонова. Тот пришел в полный восторг от романа Булгакова и сказал, что «Мастер и Маргарита» обязательно будет напечатан в одном из ближайших номеров журнала «Москва». И так оно и произошло.

Вернувшись в Москву, Симонов сам отправился к Попкову, главному редактору журнала. «Хочешь прославиться?» — спросил Симонов редактора. Тот очень даже хотел. Симонов написал предисловие, и роман был напечатан.

«Мастера и Маргариту» читала вся Москва. Мой племянник до четырех утра не ложился спать. Когда я начинала на него ругаться, он отвечал: «Кота пришли арестовывать! Как я могу лечь спать?» И я разрешала ему читать по ночам.

Хотя роман нравился не всем. Елена Сергеевна вспоминала, что Ильф и Петров советовали ей, чтобы она убрала из романа все, что касается Христа и Понтия Пилата. Тогда, мол, роман станет интереснее.

Но она, конечно, ни на какие сокращения пойти не могла.

В романе ведь немало автобиографических деталей. Булгаков изобразил в «Мастере…» не только свой роман с Еленой Сергеевной, но и критиков, которые уничтожали его. Изменив,

правда, их фамилии. Например, начальник репертуарного комитета Литовский, запрещавший пьесы Булгакова, стал в романе критиком Латунским.

Прообразом Маргариты конечно же была Елена Сергеевна. Она в самом деле любила желтые цветы. И именно с таким букетом по Тверскому бульвару шла Маргарита, когда ее впервые увидел Мастер…

Елена Сергеевна рассказывала мне, что познакомились они в гостях у общих знакомых, куда поначалу ни она, ни, как потом оказалось, Михаил Афанасьевич идти не хотели. Но в итоге пошли, увидели друг друга и…

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» («Мастер и Маргарита»).

Елена Сергеевна, разумеется, слышала к тому времени имя Булгакова. В том числе и от своей родной сестры Ольги Бокшанской, которая работала в Художественном театре и была личным секретарем Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

Елена Сергеевна говорила мне, что, едва увидев Михаила Афанасьевича, сразу поняла, что влюбилась. И Булгаков, как он признавался ей потом, в тот момент испытал те же чувства.

Он шутил, что Елена Сергеевна околдовала его, привязав к себе тесемочками на своих рукавах. Дело в том, что у нее развязались тесемочки на платье, и она попросила Булгакова помочь ей завязать их. Тот завязал и словно в самом деле привязал себя к ней.

Елена Сергеевна на тот момент была замужем за генералом Шиловским. Очень хорошим, как она говорила, человеком. У них росло двое сыновей — Евгений и Сергей.

Но ее чувства к Булгакову были так сильны, что она ничего не могла с собой поделать. Они встречались едва ли не каждый день. А однажды Михаил Афанасьевич даже явился к Елене Сергеевне ночью.

Не в дом конечно же. Он вызвал ее на улицу и повел на Патриаршие пруды, где указал на одну из скамеек: «Здесь они впервые увидели его». Он тогда уже начал работать над своим романом…

* * *

Когда об отношениях Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны стало известно ее мужу Шиловскому, тот сразу же сказал, что не станет мешать ее счастью. Потому что Елена

Сергеевна — самый дорогой для него человек и ее счастье для него превыше всего.

Вот только детей он хотел оставить себе. И попросил, чтобы Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич не виделись один год и смогли понять, так ли сильны их чувства.

Они действительно не виделись год. Елена Сергеевна уехала в Киев. А когда пришло время возвращаться в Москву, она решила, что пожертвует своим чувством ради детей, ради того, чтобы они жили с матерью и отцом.

Но так получилось, что в дороге она купила какой-то роман, совершенно банальный и ничем не примечательный. В нем описывалась рядовая история о том, как женщина, полюбив мужчину на стороне, не оставила семью и пожертвовала собой ради детей. И когда в старости она сказала об этом сыну, тот ее спросил: «А зачем?» И эта история оказалась такой созвучной перипетиям самой Елены Сергеевны, что она приняла решение уйти от мужа.

«Я бы никогда с мужем не рассталась, если бы не поняла, что это не просто роман. Булгаков пошел к нему объясняться, и потом говорил, что чувствовал себя ничтожеством, когда Шиловский произнес: „Вы поймите, какое сокровище вам достанется, какая она женщина!“».

Вернувшись в Москву, с Булгаковым Елена Сергеевна не встречалась, хотя все время о нем думала.

Травля тогда была уже в полном разгаре. Практически все его друзья разбежались.

И вот она решила зайти в кафе, где они когда-то встречались, и вдруг увидела его. «Он сидел один и что-то пил, при этом у него было такое лицо… что я поняла, что мы с ним никогда не расстанемся».

* * *

Наверное, в Елене Сергеевне было какое-то скрытое женское обаяние, даже что-то большее. В ней была какая-то внутренняя свобода и естественность.

Я, кажется, не видела ни одной ее удачной фотографии. Она казалась такой гармоничной, а это не видно ни на одном из ее фотоизображений…

Я всегда удивлялась ее жизнелюбию. Когда она мне рассказывала о том, как ужасно было пережить смерть сына, я спросила, как же такое можно вынести. Она мне ответила: «Вер, ну мы же с ним увидимся. Надо только подождать».

Вся ее сила была в вере. От нее всегда исходила какая-то доброжелательность. Она искренняя была, слушала вас так, как будто вы — ее любимая сестра.

Никогда не говорила плохо о бывших женах Булгакова.

Она была благодарна первой его жене за все, что та для него сделала. Он сам много раз говорил, что еще поплатится за то, как с ней обошелся, и что он в вечном долгу перед ней.

Елена Сергеевна общалась с первой женой Михаила Афанасьевича. Та была очень приятной женщиной.

А вот вторая была совсем не подарок. Когда она была женой Булгакова и тот работал в кабинете, женщина приглашала гостей и, например, могла громко играть на фортепиано и слушать музыку. Когда Михаил Афанасьевич выглядывал из кабинета и просил быть чуточку потише, так как он пишет, его вторая жена говорила: «Ты что, Достоевский, что ли?»

А вот Елена Сергеевна была, конечно, идеальной женой художника. Когда после смерти Михаила Афанасьевича к ней стали приходить иностранные журналисты и издатели и просить рукопись романа, она всем отвечала отказом.

— Представляете, сколько денег вы потеряли? — как-то спросил ее один из иностранцев.

— Это вы не представляете, сколько я приобрела, — ответила Елена Сергеевна.

А когда роман наконец был опубликован, Елена Сергеевна сказала: «Вот теперь при встрече я смогу честно взглянуть в глаза Миши…»

* * *

Елена Сергеевна преображалась и превращалась на глазах в ту Маргариту, которая разносит дом писателей, лишь когда речь заходила о тех людях, которые травили мужа.

Да и вокруг нее всегда было бабьё, вороны, любимое создание дьявола. Чего только про нее не говорили. Как все переворачивали и как злобствовали, завидовали…

У них с Булгаковым своих детей не было. Михаил Афанасьевич ведь в юности употреблял наркотики и, возможно, не хотел, а может быть, и не мог иметь детей.

«Но у нас была удивительная жизнь, — признавалась мне Елена Сергеевна. — Мы с Мишей ни разу не поссорились».

И сам Булгаков тоже считал, что Елена Сергеевна была послана ему свыше.

Елена Сергеевна обожала Михаила Афанасьевича, верила в

него и всячески поддерживала и помогала. Он ведь в конце жизни совсем ослеп. И «Мастер и Маргарита» был закончен уже под диктовку. Елена Сергеевна рассказывала, что Булгаков, продиктовав одно предложение, потом несколько раз повторял его, затем просил, чтобы Елена Сергеевна прочла его, и, проверив то, что вышло, на слух, без конца вносил изменения.

Когда Булгаковы только стали жить вместе, Михаил Афанасьевич взял с Елены Сергеевны слово, что умрет у нее на руках. Елена Сергеевна вспоминала, что Булгаков вообще довольно часто говорил о своей смерти. Но делал это так весело и непринужденно, что никто не воспринимал его слова всерьез. Все только смеялись. И она тоже, услышав просьбу мужа, кивнула — конечно же он умрет у нее на руках. И именно так оно и вышло.

Умер Михаил Афанасьевич, держа в ладонях руку Елены Сергеевны.

Она вспоминала, что Булгаков был уже мертв, а его рука какое-то время еще сохраняла тепло.

Последними словами Михаила Афанасьевича были: «Господи, прости. Господи, прими». Об этом почему-то нигде не написано. А я готова на Евангелии поклясться, что Елена Сергеевна сказала мне именно так: «Господи, прости. Господи, прими»…

* * *

Из письма Елены Сергеевны брату Михаила Афанасьевича

«Мы засыпали обычно во втором часу ночи, а через час-два он будил меня и говорил: „Встань, Люсенька, я скоро умру, поговорим…“

Когда мы с Мишей поняли, что не можем жить друг без друга (он именно так сказал), — он очень серьезно вдруг прибавил: „Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, — дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках“.

Я нечаянно улыбнулась — это был 1932 год, Мише было 40 лет с небольшим, он был здоров, совсем молодой…

Он опять серьезно повторил: „Поклянись“. И потом в течение нашей жизни несколько раз напоминал мне об этом. Я настаивала на показе врачу, на рентгене, анализах и т. д. Он проделывал все это, все давало успокоение, и тем не менее он назначил 39-й год, и когда пришел этот год, стал говорить в легком шутливом тоне о том, что вот — последний год, последняя пьеса и т. д.

Но так как здоровье его было в прекрасном проверенном состоянии, то все эти слова никак не могли восприниматься серьезно.

Говорил он об этом всегда за ужином с друзьями, в свойственной ему блестящей манере, со светлым юмором, так что все привыкли к этому рассказу. Потом мы поехали летом на юг, и в поезде ему стало нехорошо, врачи мне объяснили потом, что это был удар по капиллярным сосудам. Это было 15 августа 1939 года. Мы вернулись в тот же день обратно из Тулы (я нашла там машину) в Москву. Вызвала врачей, он пролежал несколько времени, потом встал, затосковал, и мы решили для изменения обстановки уехать на время в Ленинград. Уехали 10 сентября, а вернулись через четыре дня, так как он почувствовал в первый же день на Невском, что слепнет. Нашли там профессора, который сказал, проверив его глазное дно: „Ваше дело плохо“. Потребовал, чтобы я немедленно увезла Мишу домой. В Москве я вызвала известнейших профессоров — по почкам и глазника. Первый хотел сейчас же перевезти Мишу к себе в Кремлевскую больницу. Но Миша сказал: „Я никуда не поеду от нее“. И напомнил мне о моем слове.

А когда в передней я провожала профессора Вовси, он сказал: „Я не настаиваю, так как это вопрос трех дней“.

Но Миша прожил после этого полгода».

* * *

Мы как-то удивительно сошлись с Еленой Сергеевной. Она, наверное, была довольно одиноким человеком.

И, как и все люди, испытывая потребность высказаться, делала это во время наших встреч в ее небольшой квартирке на Суворовском бульваре.

А говорили мы с ней обо всем.

— Видите церковь? — спрашивала она меня, указывая на белоснежный храм во дворе своего дома. — В ней крестили Суворова. Потому бульвар так и называется.

Она была очень дружелюбным человеком и быстро сходилась со всеми. Например, пока мы с ней ехали в такси на Новодевичье кладбище на могилу Булкагова, она начинала разговаривать с таксистом и к концу поездки уже была с ним в самых прекрасных отношениях.

Жила она довольно скромно. Зарабатывала, насколько я понимаю, переводами. Она вспоминала, что и с Михаилом Афанасьевичем они никогда не были особенно богатыми. А уж когда Булгакова начали уничтожать в прессе, денег и подавно не стало.

Михаил Афанасьевич вырезал все ругательные статьи в свой

адрес и вешал их на стену кухни.

Его последней надеждой на возможность публиковаться стала работа над пьесой «Батум», рассказывающей о деятельности молодого Сталина. Булгаков получил официальный заказ и одобрение для написания пьесы. Но ничего, увы, в итоге не получилось.

Елена Сергеевна вспоминала, как они, веселые и счастливые от предстоящей поездки на Кавказ, где Булгаков вместе с художником надеялся собрать материалы для работы над декорациями, сели в поезд. Они почти ликовали, что черная полоса в их жизни наконец закончилась. Но на первой же станции в вагон вошли люди в штатском и сообщили Булгаковым, что «необходимость в их поездке отпала». Для Михаила Афанасьевича это стало огромным ударом, от которого он по большому счету так и не оправился.

В Москве у него начался туберкулез глаз, он перестал видеть. И вскоре умер…

* * *

Из письма Елены Сергеевны брату Михаила Афанасьевича

«Он умирал так же мужественно, как и жил. Вы очень верно сказали о том, что не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание. Пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник — правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество — безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, — невозвратима».

* * *

Когда Елена Сергеевна стала искать камень для памятника мужу, ей сказали, что ничем помочь не могут. Но если она хочет, то может посмотреть старые надгробные камни, которые за ненадобностью валялись на кладбищенской помойке.

Тогда ведь в Москве вовсю шло перезахоронение. Несколько могил из Даниловского монастыря перенесли на Новодевичье кладбище. Установили новые памятники, а старые выбросили.

Елене Сергеевне понравился один камень. Ей позволили его установить на могиле Булгакова. А потом оказалось, что тот

камень прежде лежал на могиле Николая Гоголя, которому поставили новый памятник с нелепой надписью «От правительства Советского Союза». А Николай Васильевич был самым любимым писателем Булгакова.

Может, это и было каким-то мистическим совпадением, кто знает. Вообще принято считать, что Михаил Афанасьевич был связан с какими-то потусторонними силами. Я не знаю, так ли оно было…

Булгаков умел видеть будущее. Он, чьи романы никто не печатал, говорил Елене Сергеевне, что после его смерти она станет почитаемой всеми вдовой известного писателя, которую будут умолять прочесть лекцию о нем.

И так оно впоследствии и было…

* * *

Из письма Елены Сергеевны брату Михаила Афанасьевича

…После всего тяжкого горя, выпавшего на мою долю, я осталась цела только потому, что верю в то, что Миша будет оценен по заслугам и займет свое, принадлежащее ему по праву место в русской литературе…

…На вечере памяти в 1960 году в МХАТе. Я сидела в МХАТе в фойе (я связана с этим театром уже более 40 лет) и, глядя на портрет Миши, думала: «Ты слышишь, Миша? Это о тебе так говорят! Это тебе играет Рихтер, это для тебя поет лучший тенор Большого театра (он пел по моей просьбе любимую Мишину „Эпиталаму“)…»

* * *

Елена Сергеевна рассказывала мне, что у Булгакова был огромный интерес к мистике. На него, например, большое воздействие оказывала луна. В полнолуние он был преисполнен мыслей.

Елена Сергеевна к мистике относилась довольно сдержанно.

О ней пишут, что она чуть ли не ведьма была. Это все конечно же неправда.

После смерти Михаила Афанасьевича сильно нуждалась. Перепечатывала на машинке и делала переводы.

Светик ей старался разными способами помочь. Хотя у самого денег в кармане не было, все держала Нина…

У вдовы Булгакова было много поклонников, и про нее

говорили разное. Но у Елены Сергеевны с ними были исключительно дружеские отношения. При том что она всегда оставалась самой собой.

Елена Сергеевна рассказывала мне, как на каком-то банкете она оказалась за одним столом с Шостаковичем. И тот принялся рассказывать ей анекдот, в котором были всевозможные матерные слова. Елена Сергеевна на это никак не реагировала. Лишь просила передать ей то соль, то перец, то хлеб. Когда Шостакович наконец рассказал анекдот, то посмотрел на Елену Сергеевну, ожидая ее реакции.

— Передайте, пожалуйста, перец, — только и сказала она.

Во время перерыва Шостакович снова приблизился к ней и, решив, что она не поняла анекдот, снова рассказал его с теми же самыми похабными словами. Елена Сергеевна вновь ничего не сказала в ответ…

* * *

16 мая — в день рождения Михаила Афанасьевича — мы ходили с ней на улицу Фурманова к дому, где они жили, поднимались по лестнице до их квартиры.

Тогда она мне и рассказала о пророчестве Булгакова о том, что его гроб стукнут о стену, когда станут спускать по лестнице…

Елена Сергеевна на тридцать лет пережила Булгакова. Ее не стало летом 1970 года.

3 июня в Еленин день мне моя дипломница подарила какие-то уникальные розы золотого цвета.

И я позвонила Елене Сергеевне: «Я должна вас увидеть на одну минуту».

Она мне сказала: «Приезжайте».

Я приехала с цветами. Помню, она была в синем капоте с блесточками и в больших золотых сережках, так было красиво. Елена Сергеевна показала мне квартиру после ремонта: комната была темно-синяя, а мебель красного дерева. Такое изысканное сочетание.

Я отдала букет, пожелала ей счастья. И это был последний раз, когда я ее видела.

Накануне кончины Елена Сергеевна была на спектакле «Бег», вернулась взволнованная, кажется, ей понравилось. Легла спать и умерла совершенно как ее Маргарита — схватилась за сердце и все…

Меня в те дни не было в городе. И Славы не было. Но о ее смерти Рихтер узнал первый.

Приехал ко мне и говорит: «Сейчас ты будешь кричать».
Я сразу поняла, о ком он говорит.
— Елена Сергеевна? — спросила я.
Светик кивнул.
И я зарыдала…

Глава 5
Юра Нагибин

Линия жизни

Юрий Нагибин

Родился 3 апреля 1920 года в Москве.

В этом же году отца Юрия Кирилла Нагибина расстреляли за «сочувствие мужикам».

Официальным отцом писателя считался друг Кирилла Нагибина адвокат Марк Левенталь, чье отчество и носил Нагибин.

Учился в медицинском институте и ВГИКе, но не окончил их.

В 1940 году опубликовал первый рассказ и был принят в Союз писателей СССР.

Был шесть раз женат.

Автор сценария более чем к 40 фильмам. Самые известные из них: «Председатель» (1964), «Бабье царство» (1968), «Красная палатка» (1969), «Директор» (1970), «Дерсу Узала» (1975), «Петр Великий» (1986).

Несмотря на множество опубликованных повестей и романов, самым «громким» наследием писателя считается его «Дневник», который Нагибин вел на протяжении многих лет (с 1942 по 1986 год) и с беспощадной откровенностью заносил в него свои мысли о себе и окружающих.

Скончался 17 июня 1994 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище, хотя в «Дневнике» сам пишет о желании «лечь на Востряковском», где похоронены мать и ее муж.

Одной из женой была **Белла Ахмадулина.**

Родилась 10 апреля 1937 года в Москве.

В 1964 году снялась в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень».

В 1967 году был опубликован первый сборник стихов.

Скончалась 29 ноября 2010 года.

* * *

Нагибин обожал собак. На протяжении всей жизни у него были псы только одной породы — эрдельтерьеры.

Говорят, что хозяева бывают похожи на своих питомцев. Так вот эрделей отличает живость, которую они сохраняют до последнего дня…

Рассказ Нагибина «Зимний дуб» раньше (хотя, может, и сейчас) был в школьной программе по литературе. Но я знал Нагибина в первую очередь благодаря его сценариям.

И прежде всего — к фильму «Председатель».

* * *

Из «Дневника» Юрия Нагибина

«1965

Картину сперва просто решили не выпускать на экран, потом ее искромсали и пустили по клубам, но в день премьеры, даже в самый час ее опять запретили; мы выступали перед зрителями в кинотеатре „Россия“, а по всей Москве сдирали афиши с лицом Ульянова, сдергивали натянутые между домами плакаты, извещавшие о выходе фильма, рушили фанерные рекламные стенды.

Картину в конце концов разрешили. Она прошла с небывалым успехом, истинно народным. Не знаю, имела ли хоть одна наша картина такой успех. Может быть, „Броненосец Потемкин“, „Чапаев“, „Путевка в жизнь“.

Ее просмотрели буквально все взрослые люди, ибо детям до шестнадцати лет на картину вход был запрещен. Почему? В картине нет никакой эротики, но есть правда о прошлом, да и только ли о прошлом? — а это пострашнее альковных соблазнов. Правда приравнивается к порнографии. Успех картины был настолько велик, что даже пресса, настроенная поначалу крайне враждебно, сдалась и начала хвалить, сперва сквозь зубы, потом взахлеб».

* * *

Фильм «Председатель» — это история о председателе колхоза Егоре Трубникове, который пытается восстановить родное хозяйство. Которое на самом деле находится в упадке не только из-за войны, но и из-за «разрухи в головах». Трубников помнит, каким колхоз был раньше и мечтает вернуть ему былое процветание.

Таким же «председателем» был и Нагибин, заставший «серебряную пору» русской литературы.

Он появился на свет, когда еще творили Блок, Есенин, Маяковский. А Манна улице Фурманова…

Повесть «Встань и иди» — одно из самых пронзительных произведений советской литературы.

Но несмотря на десятки рассказов, повестей и сценариев, для многих Нагибин навсегда останется автором скандальных «Дневников». «Скандальных» не потому, что на его страницах

открыты какие-то секреты. Скорее, наоборот, громкую славу записи приобрели как раз потому, что озвучили то, о чем до этого во всеуслышание говорить было не принято.

Нагибин беспощадно жестко относился к жизни. И она, кажется, платила ему взаимностью.

Хотя со стороны все выглядело более чем благополучно.

Книги писателя выходили в Германии, Венгрии, Франции. В Италии он вообще был одним из самых популярных иностранных писателей, удостоенным не только престижных литературных наград, но и чести специально написать книгу о Тинторетто, обожаемом итальянцами мастере.

Правда, в советские годы изданные за границей книги часто не доходили до самого Нагибина, отчего он, по его признанию, порою даже не верил в их существование.

Да и заработанные гонорары он стал получать лишь в последние годы. До этого даже из находившихся на собственном счету 15 тысяч долларов он имел право получить максимум пятьсот.

Нагибин написал сценарии к десяткам фильмов.

Картина «Дерсу Узала», которую снял великий Куросава, получила «Оскар». В ленте «Петр Великий», в работе над сценарием к которой он тоже принимал участие, снимались Максимилиан Шелл и Лоуренс Оливье. Так что имя писателя и сценариста было известно далеко за пределами одной шестой суши.

Два великих советских фильма — «Председатель» и «Бабье царство» — стали настоящим событием. И не только в мире кино.

Исполнителей главных ролей — Михаила Ульянова и Римму Маркову — потом стали считать чуть ли не символом русского человека. Который многое может вытерпеть. Но если дойдет до края, то мало не покажется никому.

Таким же символом был и Юрий Нагибин — и выпить любил, и выругаться мог, и пахал без устали, и о счастье мечтал. А достигнув его, как всякий русский, начинал стыдиться.

Писатель в Советском Союзе — это тиражи, количество нулей в которых сегодня кажется сказкой, это гонорары, слава и звание «инженера человеческих душ», которое только что в трудовой книжке не было записано.

Особый разговор — это талантливый писатель в Советском Союзе. Потому как в этом случае ко всем перечисленным выше бонусам прилагалась совесть, муки которой от понимания происходящего часто сводили на нет все так называемые «сливки» от жизни.

Юрий Нагибин был очень талантливым писателем, который родился и прожил жизнь в СССР.

Он отдавал себе отчет в происходящем. После того как в Чехословакию вошли советские танки, он решил, что в этой стране у него не будет детей. Он жестко относился к строю и служащим ему людям. И в первую очередь к себе.

А потому имел право на критику. Шкалу собственной оценки он определил с самого начала, едва взявшись за «Дневник».

* * *

Из «Дневника» Юрия Нагибина

«20 марта 1942 года

Сегодня наша переводчица Килочицкая, святая курица, подходит ко мне и говорит:

— Юрий Маркович, я хочу вас предупредить — о вас очень плохого мнения. Говорят, что вы циничны, развращены и к тому же трус. Мне больно за вас, как за русского юношу.

— Любовь Ивановна, — сказал я, — к сожалению, это все святая правда.

— Но как же так? Я ничего этого не вижу.

— Вы слишком доверчивы. Умные люди проглянули меня в самую глубь».

* * *

Для меня Нагибин — человек большой смелости.

С ним можно не соглашаться. Но уже то, что он чернилами наносил на бумагу искренние мысли и не боялся, что их могут прочитать, меня лично восхищает. А он не то что не боялся, а на публикацию и рассчитывал.

При этом ни об одной из своих женщин он не написал плохо.

Досталось только Белле Ахмадулиной. Да и то ее он «разбирает» исключительно как поэта, поставив при этом в один ряд с Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой…

Существует мнение, что лучший способ понять писателя — читать его произведения.

Наверное, это так.

Но при этом загадка личности все равно остается.

Читая произведения, можно, скорее, понять об авторе другое — степень его таланта. Что, возможно, и есть самое важное.

И все же самый точный взгляд бывает, как известно, со стороны.

Конечно, мне было интересно, каким Нагибин бывал с

близкими, а не только наедине с бумагой.

О том, каким он был или казался со стороны, и вспоминала Вера Прохорова.

Сам писатель называет ее в «Дневнике» Верочкой.

* * *

Вообще в этот раз я хотел просто повидаться с Верой Ивановной и расспросить ее о сегодняшнем житье-бытье. Ну нельзя же, в самом деле, каждый раз просить человека вспоминать о днях минувших.

Но сама Прохорова, обратившись мыслями в прошлое (потому, наверное, она так часто говорила, закрыв глаза), не хотела слишком быстро возвращаться в день сегодняшний.

Да и аспирант, занятие с которым было назначено в этот день, на урок почему-то не пришел.

Получается, у нас было время.

И тогда я попросил рассказать о писателе Юрии Нагибине, о котором Вера Ивановна еще во время нашей первой встречи сказала: «О ком я вспоминаю с благодарностью, уважением и признательностью — это Юра Нагибин…»

* * *

Моя мама очень любила Юрку: «Какой хороший мальчик!»

Он был моим самым близким другом.

Когда меня посадили, собирал подписи за мое освобождение. Мне потом показали все эти бумаги…

* * *

Юра Нагибин умер в 1994 году, а его «Дневники» и сегодня обсуждают, словно они появились только вчера. Мне говорили, что Юра и про меня там пишет. Но я сама не хочу это читать.

У меня свое отношение к дневникам. Не думаю, что вообще их стоит публиковать. И уж тем более судить по ним об авторе и людях, о которых он пишет.

Ведь дневниковые записи человек делает под воздействием сиюминутного настроения. Может, например, на кого-то обозлится и так и запишет: «Иванов — дурак». Но это же его сегодняшнее впечатление, а в результате оно остается клеймом

на человеке. При том что сам автор, может, и успеет изменить отношение к своему герою.

* * *

Из «Дневника» Юрия Нагибина

«Успех Михалкова, Симонова, даже такой мелочи, как Юлиан Семенов, понятен, закономерен и ободряющ для окружающих. Таланта почти не нужно, но нужна решимость на любую пакость, причастность „святому делу сыска“, неоглядный подхалимаж и беспощадность в достижении поставленных целей.

Этими качествами, включая, разумеется, скудость дарования, наделены почти все лица, желающие преуспеть на ниве искусств.

В победах вышепоименованных корифеев они видят залог собственного успеха. А мое поведение, моя жизненная линия им органически противопоказаны. Не хочется признать, что можно приобрести имя, деньги да к тому же моральный комфорт, брезгливо избегая всяких бесовских игр, отвергая причастие дьявола. Это приводит в ярость, а ярость толкает к доносам.

Да, друг мой, ты поставил себе непосильную цель: прожить жизнь, оставаясь порядочным человеком. Именно прожить, а не протлеть, последнее куда проще. Порядочным человеком ты, Бог даст, останешься, а вот сможешь ли жить?..»

* * *

Юра только на вид был прохладным человеком с удивительной выдержкой, а на самом деле был страшно добрым и чутким невероятно.

Когда меня посадили в лагерь, он бесконечно писал в КГБ, собирая под письмами в мою защиту подписи всех наших общих друзей — Нейгауза, Пастернака, Рихтера.

У самого Юры ведь была совсем непростая судьба.

Они с матерью жили фактически двойной жизнью. Ксения — она была из дворянского рода — довольно свободно смотрела на жизнь, у нее много было романов.

Настоящим отцом Юры был офицер Кирилл Александрович, которого расстреляли, когда Ксения Алексеевна была беременна Юрой.

Перед смертью Кирилл наказал своему другу жениться на Ксении. Тот так и сделал, и Ксения Алексеевна стала женой Марка Левенталя, записав его отцом ребенка. Левенталя вскоре

арестовали и выслали в Воркуту, где он, как все думали, погиб.

Поэтому через два года Ксения Алексеевна вышла замуж за писателя Якова Рыкачева. Хотя он больше был критиком, единственное, что написал, — книгу о кавалерист-девице Дуровой.

И вдруг выясняется, что Марк Яковлевич жив. Ксения Алексеевна этого афишировать не хотела.

Юра тайно ездил в Воркуту, где отец отбывал ссылку. Об этом он потом напишет одну из своих пронзительных повестей «Встань и иди».

* * *

Я Юру знала с войны. Его дом находился напротив нашего.

Квартиры в нем давали двум видам писателей — либо молодым, либо третьесортным. В Юрином подъезде жил Михаил Булгаков, он в этом доме и умер.

Вообще это был большой каретный сарай, теперь на его месте построили огромный генеральский дом. Булгаков жил на последнем надстроенном этаже, куда вела кривая лестница.

Я самого Михаила Афанасьевича не знала, лишь видела, как он ходил по улице.

С Юркой же мы были очень дружны.

Я хорошо знала его мать. Ксения Алексеевна красавица была невероятная — тонкие черты лица, золотые волосы. Она была жестким человеком, довольно острым на язык.

Юрку обожала. Хотя когда я спросила ее, хотела ли она ребенка, Ксения Алексеевна ответила: «Вы с ума сошли, Вера, я со всех шкафов прыгала, чтобы случился выкидыш. Но сын все равно родился. Лишь когда мне его принесли покормить, я почувствовала к нему нежность».

* * *

Из «Дневника» Юрия Нагибина

«8 ноября 1983 г.

Дорогие папочка и мамочка, ваш сын, которого вы так легкомысленно зачали в 19-м, так серьезно пытались выкурить, а по нежелательному появлению на свет пылко возлюбили, готовится стать атомной пылью».

* * *

Сына она держала в крепких руках. Не хотела, чтобы он женился. Говорила: «Зачем? Бабы все одинаковы, а разговаривать — для этого мы с Яшкой есть». Это она своего мужа имела в виду, отчима Юркиного, которого тот обожал.

Первый раз Нагибин успел жениться еще до войны. Его первой женой стала приемная дочь философа Асмуса. Девушка была милой, правда, несколько парикмахерского типа. Они познакомились в Коктебеле. Расписались, но мать ее не знала об этом.

Я же рассказывала уже об Ирине Сергеевне Асмус, которая была влюблена в Пастернака и потом ревновала его к Зинаиде Николаевне. Так вот эта самая Ирина Сергеевна мечтала для своей дочери о муже-генерале. Ксения Алексеевна обо всем знала, конечно.

Жили Юра с женой отдельно друг от друга, но встречались. Только когда Юра перед отправкой на фронт пришел проститься с Машей и мать ее начала снова ворчать: «Чего это он ходит?» — Юра ответил: «Я пришел проститься со своей женой!»

Женщина не поверила и потребовала показать паспорт. Дочь показала, и мать тут же порвала его. И крикнула мужу: «Убери этого негодяя из нашего дома!»

Юрка схватил какую-то палку: «Только попробуй подойти ко мне!»

И Асмус ответил: «Ну как же я его выгоню, если у него палка?»

Сам Асмус вообще был на удивление неконфликтным человеком. Такой подкаблучник. Когда в 1946 году Ирина Сергеевна умерла от рака, он женился снова и нарожал много детей…

А Нагибин к началу войны успел перевестись из медицинского института на сценарный факультет во ВГИК.

Он уже что-то писал, печатался и состоял в молодежной бригаде Союза писателей. Ему предложили поехать в Алма-Ату, куда эвакуировался ВГИК. Но Ксения Алексеевна, узнав об этом, сказала: «Я не знала, что фронт находится в Средней Азии». И, получается, сама послала сына на войну. «Погибать так погибать», — решил Юрка, поехал и вскоре был контужен. Потом его освободили ото всего и отправили под Москву лечиться.

Тогда фронт находился недалеко от Москвы, и бойцы, приезжая в город за провизией и почтой, могли с линии фронта кого-нибудь из солдат захватить с собой. Иногда и Юру так брали.

Он каждый раз сидел дома, так как в любой момент его могли забрать обратно. Однажды он попросил Машу Асмус

прийти к нему, а она не пришла. Это и стало началом конца их отношений.

Со временем теща вроде как расположилась к Юре — во-первых, поняла, что все генералы уже заняты, а во-вторых, Нагибин, начав печататься, стал известным.

Но жизни с Машей у него не получилось, и скоро они расстались.

* * *

Мы с ним познакомились благодаря Юриному желанию изучать английский. Его знакомая, которая, в свою очередь, знала мою маму, предложила в качестве учителя меня.

Моя мама вообще очень приветствовала, чтобы у нас в доме появлялись молодые люди. А я, наоборот, была против. Зачем мне это было нужно?

Юра к тому времени уже начал писать рассказы и ему дали квартиру, маленькую, на первом этаже, как раз напротив нашего парадного.

Нагибин был очень застенчивый. Помню, как увидела его в первый раз.

Из-за того что окна у нас всегда были открыты, а жили мы на первом этаже, он обратился ко мне с улицы: «Можно увидеть Надежду Николаевну?»

Я ответила, что это моя мама, и предложила войти.

Нагибин вошел. И остался в нашем доме на долгие годы.

Он очень подружился с Рихтером, который, как я уже говорила, во время войны даже жил у нас. Юра притаскивал что-то из еды, и мы — я, мама, сестра и Светик — устраивали пиры.

Голода как такового, несмотря на военное время, не было. Выдаваемых 500 грамм хлеба вполне хватало, если, конечно, был приварок — овощи какие-нибудь, та же картошка. Но приварок был невероятно дорог — картошка стоила безумных денег.

Но мы как-то находили выход из положения — сестра моя Люба и мама работали. Я, кроме института, почти никуда не отлучалась. Но зато каждый месяц сдавала кровь, за что получала по 400 грамм масла, мяса, сахара. Это было хорошим подспорьем. Есть, конечно, всегда хотелось, но сказать, что мы голодали, нельзя.

Несмотря на то что передвигаться по улицам в ночное время было строго запрещено, Юра все равно приходил к нам — ему было достаточно просто пересечь улицу, и он уже был у нас.

После ужина мы устраивали игры. Каждую ночь ждали, что

придут за Светой, а потому не ложились. Придумывали всякие шарады.

Например, кому-то надо было безмолвно показать заданную ведущим сцену, а все остальные должны были догадаться, что она означает.

Как-то во время войны мы устроили у нас дома сценку. Для того чтобы проиллюстрировать эпизод из какой-то книги, нужно было изобразить покойницу. Мы взяли два одеяла, положили одно под другое и вроде как получился покойник. Но Светик остался недоволен: «Нет, это недостоверно!» И обратился к моей сестре: «Люб, дай свои туфельки!» Приставил их к одеялу, и точно, получился завершенный образ трупа. В этот момент в комнату как раз вошел Юрка. И вздрогнул от ужаса — перед ним на полу лежала настоящая мертвая женщина.

Так что у Рихтера были еще и режиссерские способности.

* * *

А какой у нас был «Марсельский кабачок»!

Почему «марсельский»? Так решил Рихтер. Пришедший должен был выбрать себе имя и профессию. Я, например, была Элизабет, путешественница, которая записывает интересные вещи. Светик был месье Эрик (он же первый раз при крещении получил именно это имя), тапер и владелец кабачка. Юра Нагибин был месье Жорж, путешественник. А его родители — знатными путешественниками.

Отчим Юры отчаянно влюблялся в одну из грузинок, которая была хозяйкой в восточной комнате (вся моя коммуналка была в распоряжении кабачка, так как соседи уехали за город), а его жена начинала ревновать. И Светик их мирил: «Посмотрите, какой прекрасный вид из окна!» Хотя из окна открывался вид на помойку.

Гости были самые разные, некоторые годились нам в отцы. Все должны были прийти в костюмах. Один решил приклеить себе усы, которые в метро у него отклеились. И за ним по пятам пошли сыщики, решив, что перед ними шпион.

Угощение было самое простое — сухофрукты, плов в огромной кастрюле и вино, талоны на которое мы копили несколько месяцев.

Мы расставили столики, на одном из которых соорудили эстраду. И желающие пели и танцевали на ней.

Все чувствовали себя абсолютно свободными. Одна девушка провозгласила себя дочерью Свободы. И действительно вела себя

весьма свободно, была одета довольно смело в декольте.

Это все было 8 марта 1947 года…

* * *

Вскоре Юра снова женился.

Валька, дочь директора знаменитого автомобильного завода имени Сталина и министра транспорта Лихачева, вторая жена Нагибина, была чудовищем, хамски-плебейского вида, да еще и некрасива. Никакие наряды не могли это скрыть. Но она обладала удивительной цепкостью.

Вообще у них был обычный роман, но девочка, как оказалось, хотела носить обручальное кольцо. И хотя Юрка не думал о женитьбе, его вызвал Лихачев, всесильный в те времена человек.

Вызвал и сказал: «Я все знаю про вашего отца. Моя дочь не б… И если вы на ней не женитесь, то можете прямо сейчас сказать „прощай“ и своей матери, и своему отчиму».

Юра женился, но жили они очень сложно. Валя злобная была женщина, ревнивая. Юрка часто сбегал от нее к нам, иногда даже на ночь оставался. А этот несчастный отец узнавал, где зять, и по утрам звонил…

Как-то рано утром уже Юрин отец позвонил из лагеря, а Валька недовольно проворчала: «Какая сволочь звонит?»

Юрка смог прожить с ней всего один год…

* * *

Другая его женщина — Лена — была предана ему. Но патологически лжива. Как-то Юра спросил у нее:

— Что-то давно Зиночку не видно.

— Так она умерла.

— Как? Такая молодая?!

— Да, приступ аппендицита. Мать одна осталась.

Юрка начал переживать. У него от потрясения даже лицо дергаться начало.

А через несколько месяцев раздается звонок в дверь и в комнату входит эта самая Зина. У Юрки новое потрясение — на лице был написан просто мистический ужас! Он говорил, что такого страха даже на фронте не испытывал. «Я просто выполз из комнаты!» Но Лена как-то выпуталась.

Ксения Алексеевна все это видела и относилась к ней довольно критично и обращалась с нею властно.

Так, Лена говорила, что в ее мать был влюблен Александр Блок и именно ей он посвятил стихотворение «Девушка пела в церковном хоре». А Ксения Алексеевна на это отвечала: «Не знала, что в синагогах есть женский хор. Я думала, там только мужчины поют».

Ксения Алексеевна всегда одергивала ее. Правда, при этом Лена много лет находилась при Юре. Я называю ее «некоронованная жена».

…О том, что я вернулась из лагеря, Юрка не знал.

Я в тот же день встретилась с Рихтером, и мы решили устроить Нагибину сюрприз. Светик позвонил Юрке.

— А Юры нет, — ответили Светику.

— А кто это?

— Это его жена, — сказала Лена. — А вы кто?

— Рихтер, его друг.

Они договорились о том, что Светик вечером придет к Нагибину. А пришли мы вдвоем. Юрка был в восторге, мы хорошо провели время. Лена чувствовала себя хозяйкой.

Вскоре после этого мы поехали на дачу к Нагибину в Красную Пахру. Ксения Алексеевна, поскольку знала, что я не имею видов на ее Юру, часто приглашала меня туда. Как-то взяла меня с собой на дачу к поэту Александру Твардовскому.

Я запомнила его — высокий блондин с голубыми глазами и прелестным голосом. В тот раз он замечательно пел «Летят утки».

Твардовский сильно пил и каждый раз отчаянно падал в кювет. И Ксения Алексеевна вытаскивала его оттуда. Но один раз не справилась и обратилась за помощью к проходившим мимо рабочим: «Помогите, хороший человек в кювете лежит». Те согласились: «Конечно, хороший. Раз в кювете — значит, пьет. А раз пьет, значит, не может быть плохим».

Ксения Алексеевна была большой антисоветчицей. Никогда не ходила на выборы. Как-то я пришла к ним прямо с избирательного участка. Ксения Алексеевна говорит мне:

— Пойди к столу, выбери себе там конфетку.

Я подхожу, а на блюде — только одна конфета.

— Так она же всего одна, — отвечаю.

— Ну и что? Вы же только что ходили на выборы, где один кандидат.

* * *

Нагибин не был красавцем, у него всегда было почему-то грустное выражение лица. Но я никого не знала, кто бы

пользовался большим успехом у женщин, чем Юра. При том что никогда особо не ухаживал и не делал ничего такого, чтобы покорить женщину. Мой племянник Сережа сказал о причинах его успеха у женщин: «Их притягивали его спокойствие и якобы незаинтересованность…»

* * *

Его пятой женой была Белла Ахмадулина. Жили они с ней сложно. У Беллы вообще был характер не сахар, а тогда она еще и страдала традиционным русским недугом.

Во время очередного приступа начинала терзать человека. Самым страшным для нее ругательством были слова: «Ты советский человек!» Она без конца повторяла это в адрес Юры, упрекая его.

Внешне она была очень обаятельна и очаровательна.

Помню, Юрка познакомил меня с ней на даче. Я как раз из лагеря вышла. Юра говорит: «Вера, я вас сейчас познакомлю с женой Евтушенко».

Я про себя еще подумала: «О-о-о, я не поклонница Евтушенко, так зачем мне еще и жена-то его, господи?» И вдруг выходит девушка: очаровательная, с бронзово-рыжей челкой, с лицом цвета нежнейшего фарфора. Ее многие считали искусственной, а она на самом деле такой и была. И менялась, только когда выпивала. Но это уже было болезнью…

Через месяц после нашей первой встречи Белла уже была женой Юры. Мы потом не раз встречались на даче в Пахре.

Ксения Алексеевна говорила гостям: «Завтракать можете когда угодно. А обедаем мы в три часа». К этому времени все собирались за столом.

Однажды, смотрю — только что Белла рядом со мной сидела, а тут раз — и ее уже нет. Спрашиваю у Юры, где она.

— Она ушла осу мыть, та только что попала в сметану, — отвечает.

Это все была Белла…

* * *

Вообще, Ахмадулина — это человек, в котором сходились одновременно и ад, и рай. При том что была потрясающим поэтом.

Я согласна с теми, кто считает ее вершиной нашей

современной поэзии. Многие ставили ее в один ряд с Пастернаком, Блоком, Ахматовой, Цветаевой. Она на самом деле находится в семье небожителей. У нее было особенное видение мира.

Она ведь была единственным человеком, который не подписал письмо против Пастернака. И ее за это выгнали из Литературного института.

Ахмадулина была умнейшей женщиной. Но стоило ей выпить, как она становилась другим человеком, в нее словно бес вселялся. Юрка говорил ей: «Я сам люблю выпить, но потом лягу спать, и все. А ты начинаешь издеваться!» Белла делала это со своим невероятным умом! Всегда умела найти больное место. Жестокой была.

Укоряла Юру в том, что он преуспевает. Да еще добрые люди-писатели подробно рассказывали ей про него, а ему про нее. При том что он целиком признавал ее превосходство в литературе, ее невероятную одаренность. Считал, что у нее редкостное дарование.

Беллу же в нем притягивали его ум, эрудированность. Юра дал ей много в смысле образования, он же был очень начитанный. Восемь лет они вместе прожили.

Но в конце Нагибин сам выгнал Беллу во время очередной их ссоры. «Бери чемодан и уходи!» — сказал он ей…

* * *

Из «Дневника» Юрия Нагибина

«3 сентября 1972 г.

Приятная встреча в ЦДЛ. Антокольский пригласил меня за стол, который „держал“ Евтушенко, но сам Антокольский не дождался моего прихода, напился и уехал домой… Ахмадулина решила отметить мое появление тостом дружбы.

— Господа! — воскликнула она, встав с бокалом в руке. — Я пью за Юру!..

— Сядь, Беллочка. Я не люблю, когда ты стоишь, — прервал Евтушенко, испуганный, что Ахмадулина скажет обо мне что-то хорошее. (Испуг его был лишен всяких оснований.)

— Я должна стоять, когда говорю тост. Этой высокой вежливости научили меня вот они, — любовно-почтительный жест в сторону сына Кайсына Кулиева. — Я пью за Юру. Пусть все говорят, что он халтурщик…

— Сядь, Беллочка! — мягко потребовал Евтушенко.

— Нет, Женя, я и за тебя произносила тост стоя. Так пусть

все говорят, что Юра киношный халтурщик… — Она сделала паузу, ожидая, что Женя ее опять прервет, но он внимал благосклонно, и Белла обернулась ко мне. — Да, Юра, о тебе все говорят: халтурщик, киношник… А я говорю, нет, вы не знаете Юры, он — прекрасен!.. — И она пригубила бокал.

…Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из последних. Белла холодна как лед, она никого не любит, кроме — не себя даже, — а производимого ею впечатления. Они оба с Женей — на вынос, никакой серьезной и сосредоточенной внутренней жизни. Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюбленности, позерстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорил он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском. Он и Вознесенского ненавидит, хотя до сих пор носится с ним, как с любимым дитятей; и мне ничего не простил. Все было маской, отчасти игрой молодости.

Жуткое и давящее впечатление осталось у меня от этого застолья».

* * *

Человека более чудовищного, чем выпившая Белла, не существовало. Она сразу начинала цепляться: «Ты — советская сволочь!» Так что ее муж Борис Мессерер (художник, последний, муж Ахмадулиной. — *И.О.)* — человек удивительного терпения.

Однажды я оказалась у них в мансарде на Поварской.

Пришла Белла и тут же начала цепляться к мужу: «Ты делец! Думаешь только о деньгах!»

Борис взялся руками за голову: «Это мой мучитель! Когда же это закончится?!»

Я попыталась как-то воздействовать на Беллу. Сказала ей, что это же Боря Мессерер, как она так может о нем говорить?

«Да, это ваш Боря! — ответила мне она. — Который думает только о деньгах!»

В конце она болела сильно. Чудо, что дожила до такого возраста. Она же ослепла в конце.

Чудо, что Боря сумел сохранить себя в профессии. Но мучался он с ней невероятно. Белла постоянно упрекала его. И тем не менее они прожили всю жизнь вместе.

Как-то Борис написал мне на бумажке номер своего телефона, и я по почерку поняла, какой он железный человек.

Я сама с Беллой по-настоящему познакомилась в 56-м году, как раз после освобождения из лагеря. Она была очаровательна — чудесные темно-рыжие волосы, естественный звонкий голос, ум и одаренность невероятные. Она интересовалась лагерем, тогда это была экзотика. Я много проводила с ней времени.

Не знаю, насколько она любила Юру. Она, по-моему, любить по-настоящему не могла, слишком была погружена в другое. Могла влюбиться разве что.

А для Нагибина Ахмадулина была единственной, кого он по-настоящему любил. После той детской любви к Маше Асмус.

* * *

У Юры все время были какие-то женщины, о которых он заботился. Хотя Ксения Алексеевна жутко с ними обращалась.

Всего у Юры было 6 жен.

Ксения Алексеевна говорила: «Он как шашлык нанизывает их. И никого бросить не может».

Последняя его жена была идеальной, они прожили 26 лет вместе, до самой смерти Юры.

Алла Григорьевна стала для него и медсестрой, хотя по профессии была переводчицей, и кухаркой, и секретарем, и машину водила.

Юра сильно изменился, после того как умерла мать. Он безумно любил ее. И пережить ее смерть, видимо, до конца так и не смог.

Однажды мы встретились на какой-то выставке с Беллой, и я спросила у нее, что случилось с Юрой. «С ним после смерти Ксении Алексеевны какой-то сдвиг произошел», — ответила она. Нагибин вдруг стал писать про вождей, написал книгу о том, как любил свою тещу, мать дочери Лихачева.

И тогда жена решила по-своему помочь ему — избавить от всякой памяти о матери. Не забуду, как мы с сестрой приехали к Юре на дачу в поселок Красная Пахра. Когда Ксения Алексеевна была жива, у нее там был уютный будуар с диваном, старинным трюмо. В тот раз мы ничего этого не увидели — оказалось, за счет комнаты Ксении Алексеевны жена Юры решила расширить гостиную. И вовсе избавилась от ее комнаты. Чтобы, значит, ничто не напоминало о матери.

Не думаю, что этим она помогла Юре…

* * *

Нагибин очень любил детей. Но своих у него не было.

«Куда я в этот мир еще детей приводить стану», — говорил он.

Он ведь на самом деле был глубоко пессимистичным и грустным человеком.

* * *

Из «Дневника» Юрия Нагибина

«1982 год.

Впечатление такое, что я вползаю в смерть. И вползу, если не стряхну с себя нынешнее наваждение. Человек умирает не от болезней, а от тайного решения не оказывать им сопротивления. Характерный пример: Симонов.

Этот мощно заряженный на жизнь и работу человек почему-то расхотел жить».

* * *

Как-то уже после смерти Юры в компании возник разговор о нем. И писатель Анатолий Приставкин воскликнул: «Этот человек спас мне жизнь!»

Я тут же полюбила его за эти слова.

Оказалось, что, когда Приставкин написал один из своих первых рассказов и решил представить его на суд коллег, все писатели дали ему от ворот поворот. Они же у нас так преисполнены собственного величия!

И только Нагибин приветил его.

Приставкин говорил о нем как о святом.

Я тоже вспоминаю о Юре с огромной теплотой и благодарностью…

Глава 6
Фальк

Линия жизни

Роберт Фальк

Родился 27 октября 1886 года в Москве в семье юриста и шахматиста Рафаила Фалька.

В детстве и юности мечтал стать музыкантом.

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Одним из его профессоров был Валентин Серов, в свое время посоветовавший родителям Фалька сделать сына не художником, а пианистом.

Принял православие и имя Роман для того, чтобы заключить брак с Елизаветой Потехиной.

Вторым браком был женат на дочери Константина Станиславского Кире Алексеевой.

Член общества «Мир искусства».

Один из основателей общества «Бубновый валет» (его членами были Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Петр Кончаловский, Василий Кандинский, Казимир Малевич и другие).

В 1921 году преподавал в Витебском художественном училище, где вместе с ним работал Марк Шагал.

С 1928 по 1937 год жил и работал в Париже.

По возвращении в Советский Союз сотрудничал с Еврейским театром под руководством Соломона Михоэлса.

Один из самых больших художников XX века.

Скончался 1 октября 1958 года в Москве.

* * *

Он был Фальк.

Человек с необычной фамилией и с уникальным взглядом на мир.

Сам Роберт Рафаилович своей главной бедой считал то, что он художник. Подразумевая скорее не столько профессию, сколько способ отношения к действительности.

Он жил в своем мире, и это, наверное, позволяло ему видеть его в собственных красках — не обыденно-серых, а в ярких и пронзающих. Таких рисунков, как у Фалька, больше не увидишь ни у кого.

Со мной случилось именно так.

После разговора с Верой Прохоровой я просмотрел — для начала в Интернете, а нырнув в роскошь увиденных цветов и

красок, и в музеях — работы этого художника. И всегда буду благодарен Вере Ивановне за то, что она первая по-настоящему открыла мне Фалька.

* * *

Рисовать Роберт начал в семь лет, иллюстрируя рисунками свой детский дневник. Родители не были особенно счастливы оттого, что их единственный сын станет художником. Мудрые еврейские папа с мамой понимали, что на кусок хлеба рисунками их чаду заработать будет не так-то легко.

В шестнадцать лет юноша, кажется, прислушался к пожеланиям семьи и высказал готовность поступать в консерваторию. На радостях родители расслабились и подарили сыну краски. Это все и решило — Роберт снова начал рисовать. И понял, что именно в этом и заключается его предназначение.

Фальк был, по сути, первым авангардистом советского искусства.

Правда, степень его известности оказалась прямо противоположна размеру таланта. И даже гениальности.

С одной стороны, если кто-то не знает творчества Сезана, от этого великий француз, на которого равнялся Фальк, не становится менее значимым и цепляющим душу. Но с другой, то, что Фальк неизвестен широкому кругу, — обидно. Любой творец жив ровно столько, сколько его произведения заставляют о себе говорить, спорить, восхищаться или ненавидеть.

Со всеми героями этой книги у Фалька была самая непосредственная связь. Первая жена Пастернака Евгения была его ученицей, Булгаковы и Нагибин — соседями, а Прохорова и Рихтер — ближайшими друзьями.

Фальк не стал музыкантом. Но спустя годы, вспоминая о юношеских мечтаниях, он просил Рихтера рассказывать ему о музыке. Он же сам, в свою очередь, говорил с пианистом о живописи и даже давал своеобразные мастер-классы.

Дружба с Рихтером началась через художницу Анну Трояновскую. В доме Прохоровых, где во время войны жил Рихтер, не было рояля. И потому музыкант ходил заниматься к Анне Трояновской, у которой инструмент был.

Трояновская, как и Фальк, была ученицей Валентина Серова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Внучка богатого помещика Обнинского жила в коммунальной квартире в Скатертном переулке возле Никитских ворот (до революции вся квартира в 11 комнат принадлежала ее семье). Туда и приходил

Рихтер.

Кстати, в свое время имение Бугры, что сегодня входит в черту подмосковного Обнинска, у деда Трояновской Петра Обнинского купил Петр Кончаловский, один из участников «Бубнового валета». Членом которого был и Роберт Фальк…

* * *

В 1928 году художнику дали добро на поездку во Францию.

Он, видимо, все-таки был настоящим везунчиком. Потому что в Париже ему позволили задержаться на добрых девять лет. А потом еще и разрешили спокойно, то есть без условий и последствий, вернуться в Москву.

Французские друзья были в шоке и не могли понять, как можно уезжать из Парижа, да еще в страну, где идут наводящие ужас на весь мир политические процессы. Кто-то даже называл Фалька ненормальным.

Но он просто был художником.

Для которого самым главным было — рисовать.

А потому он даже не задумывался о том, в какое время возвращается в Советский Союз. Где в 1937 году статус приехавшего из-за границы был уже готовой статьей и приговором.

Считается, что от репрессий Фалька спасло заступничество бывшего тестя, Константина Станиславского. И мудрость — отъезд в Среднюю Азию, куда его позвал друг, летчик Андрей Юмашев.

Совершивший полет через Северный полюс в Америку герой Юмашев читал лекции, а Фальк рисовал.

Но скорее всего, Фальку опять повезло…

* * *

Так что совсем не случайно, что вес мои герои встретились под одной обложкой. Все они жили в одно время и в одном месте.

Те годы принято называть «мясорубкой». Но я бы предложил еще одно определение — «лотерея». Иначе объяснить смерть одних и сохранность других вряд ли возможно. И Фальку мог выпасть другой жребий.

Но его пощадили.

Хотя трагедий в его жизни тоже хватало. И дело не в постоянном страхе ареста или высылки. Во время Великой Отечественной Роберт Рафаилович потерял сына.

Печально знаменитое постановление 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», фактически уничтожившее Зощенко и Ахматову, чьи произведения в этих журналах были опубликованы, стало точкой отсчета нового, «мертвого» времени советского искусства.

Среди прочего в постановлении обличались произведения, «культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада».

Вскоре появилось и другое постановление, на сей раз посвященное работе драматических театров.

«Абортарий» при советском учреждении культуры заработал на полную мощность.

Русский язык «обогатился» новым ругательством — «безродный космополит». Правильные (читай — идеологически верные) художники теперь были патриотами, а все остальные — этими самыми безродными космополитами.

Фальк конечно же оказался во втором лагере.

Он остался без работы, так как театры, даже успевшие заключить с ним договоры, были обязаны их разорвать.

Одним из популярных в народе рифмованных присказок в то время стало двустишие: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом».

* * *

Жил Фальк очень бедно, почти за копейки продавая работы, которые сегодня стоят сотни тысяч.

При этом, бывая в домах своих более успешных — в финансовом отношении — коллег, не испытывал ни малейших уколов зависти и обиды от собственной полуголодной жизни.

У Кончаловского сидели за роскошно накрытым столом, а у Фалька главным угощением была миска с манной кашей. Но сам Фальк ни о чем другом и не мечтал.

Потому что у него существовало главное, то, во имя чего.

А за своей слабостью — на многих он производил именно такое впечатление — художник скрывал высшую силу, которая позволяла ему жить так, как хотел именно он. И не поступиться ни единым принципом.

Фальку удавалось то, о чем другие и не помышляли. Он владел искусством жизни. Не говоря уже о том, что само искусство было в нем.

Так, как писал Среднюю Азию Фальк, ее не писал никто. Хотя

лично для меня он в первую очередь певец Москвы с ее старыми переулками и древними церквами.

Квартира Фалька находилась в знаменитом доме Перцова, что возле храма Христа Спасителя. Тогда храма уже не существовало, на его месте планировалось возвести громадный Дворец Советов, который венчала бы гигантская статуя Ленина.

Можно только догадываться, с какими словами грядущее строительство обсуждали обитавшие в доме художники, — кроме Фалька, квартиры там были у «бубново-валетчиков» Александра Куприна и Василия Рождественского.

А может, никаких слов и не звучало. Потому что политикой Фальк не интересовался никогда. Не потому, что боялся, просто его жизнь шла по другой, параллельной прямой.

И куда больше его волновали уцелевшие церквушки, которые он без устали зарисовывал.

Как он написал соседскую церковь Ильи в Обыденском переулке!

Да и поговорить с соседями ему было о чем. Например, с художником Василием Рождественским, тоже почитателем музыки, они спорили — кто из пианистов лучше: Рихтер или Софроницкий. Рождественскому больше нравился Владимир Софроницкий. А Фальк неизменно защищал друга.

Он, кстати, пробовал написать портрет Рихтера. Но из этого так ничего и не вышло, остался лишь набросок.

Живи Фальк сегодня, он был бы не то что звездой — истинной славы ему хватало и при жизни, — но миллионером точно. Как его ученик Илья Кабаков, являющийся одним из самых модных и желанных художников мира.

Впрочем, лично у меня сложилось впечатление, что Фальк всюду — и в свободном Париже, и в сталинской Москве — вел исключительно ту жизнь, которую хотел. И вокруг него были не время и строй, а пространство, в котором находилось место лишь тем, кого он хотел видеть.

Да и плата за избранный образ жизни, по меркам его времени, была не столь уж серьезна: напрямую Фалька не коснулись репрессии. Его просто не выставляли.

Хотя, как знать, не это ли самая страшная кара для художника. И уместно ли здесь понятие «просто».

Один из друзей Марка Шагала, с которым Фалька связывали годы дружбы, художник Ладо Гудиашвили от того, что ему не позволяли выставляться, приходил в отчаяние и даже принимался жечь свои картины со словами: «Я, наверное, не художник». К счастью, рядом с Ладо была его жена Нина, которая умела создать вокруг мужа иллюзию благополучия и покоя.

У Роберта Рафаиловича было четыре жены. Он пребывал в

постоянном поиске идеального спутника жизни. В отличие от Булгакова и Пастернака, ему повезло только с четвертого раза.

Вообще, как мне кажется, для Фалька присутствие женщины не было основополагающим. Несмотря на наличие двоих детей — дочери и сына. Подобная вольность объединяла его с Рихтером, который был одним из ближайших друзей художника.

Записывая воспоминания Веры Прохоровой, я то и дело ловил себя на мысли — все самые большие художники, не обязательно в буквальном значении профессии, прошлого (двадцатого) века были связаны с Рихтером.

Магнитом своего дарования Рихтер мог притянуть к себе только равнозначную личность.

Может, потому он и был таким музыкантом, о котором по-прежнему говорит весь мир?

* * *

Когда я впервые перешагнул порог дома Прохоровой, Вера Ивановна обсуждала по телефону похороны кого-то из потомков Фалька. Я тогда пришел говорить о Рихтере, а потому о Роберте Рафаиловиче ничего не спросил.

Лишь после нескольких разговоров с Верой Ивановной мне захотелось побольше узнать о Фальке. И я был вознагражден.

Ибо картины этого художника — счастье. Которое навсегда.

А потом я понял, что, собственно, благодаря Вере Ивановне и ее рассказам моя жизнь стала богаче на имена, о которых я узнал то, о чем никогда не прочтешь в энциклопедии или заменившей все словари разом википедии в Интернете.

И Роберт Рафаилович Фальк — из их числа.

Он прожил 72 года, за время которых была устроена всего одна его персональная выставка.

На похоронах пела Нина Дорлиак, играл Рихтер.

А спустя почти полвека воспоминаниями о нем поделилась их общая близкая подруга…

Мы не говорили с ней о живописи, технике, нюансах.

А в итоге из рассказов Прохоровой родилась картина — минувшего.

* * *

Роберт Фальк был редким явлением.

Рихтер с ним очень дружил.

У меня на стене в маленькой комнате висит его картина. Когда я смотрю на этот красочный пейзаж, у меня каждый раз поднимается настроение…

Мы познакомились с Робертом Рафаиловичем, что называется, «по цепочке».

Летом моя мама решила вывезти нас на дачу. Нам порекомендовали людей, которые сдавали второй этаж дачного домика в Кратово.

Первый этаж уже был сдан. Там жило семейство Азарх-Грановских: Александра Вениаминовна, актриса, и ее сестра, Раиса Вениаминовна, художница. Их отец был врачом из Витебска. Кстати, он был очень близок с Марком Шагалом.

Александра Вениаминовна была актрисой Еврейского театра. Ее муж был одним из организаторов этого театра, вместе с Михоэлсом.

Я два раза видела самого Соломона Михоэлса. Его русский язык был безупречен, хотя очень часто, когда евреи говорят по-русски, у них бывает характерная интонация.

А о Михоэлсе сам Василий Качалов сказал: «Я хотел бы, чтобы у наших актеров была такая дикция и такой язык».

Но о встречах с великим актером я расскажу чуть позже.

Пока речь о наших соседях по даче.

У Александры Вениаминовны была довольно трагическая судьба. Она вышла замуж за актера Азарх-Грановского. Вместе с театром они поехали на гастроли в Германию, где выступили с огромным успехом.

Роберт Фальк работал у них художником. После грандиозного успеха театр пригласили в Америку, но правительство наше запретило поездку.

В итоге Азарх-Грановский не стал возвращаться в СССР и остался вместе с женой за границей. Жили они в Париже, где глава семьи стал работать режиссером.

И тут Александра Вениаминовна узнает, что у нее заболел отец. И она решила съездить в Москву, проведать его, а потом вернуться к мужу. Проводы ей устроили в хорошем ресторане. За соседним столиком сидел один индус, который пристально смотрел на Александру Вениаминовну. В конце концов ей это стало неприятно, и она попросила своего знакомого обратиться к индусу: «Даме неприятно, вы могли бы не смотреть на нее так пристально».

Но тот ответил, что его привлекает лицо дамы и, если она не против, он хотел бы взглянуть на ее руку и рассказать о том, как сложится ее судьба.

Тут уже, конечно, все провожающие воодушевились. И

Александре Вениаминовне не оставалось ничего другого, как протянуть индусу свою ладонь.

— Вы работаете в искусстве, связанном, очевидно, с театром. Вы едете в путешествие, из которого не вернетесь обратно. Вас ждет катастрофа, после которой вы останетесь инвалидом на всю жизнь, — сказал индус.

— Какая катастрофа? — воскликнула Александра Вениаминовна, молодая и цветущая женщина.

— Не знаю, какая, — ответил предсказатель. — Но связанная с транспортом, может быть, с аэропланом.

Он также сказал, что все это случится через пять лет. «Ваше лицо притянуло меня, так как я увидел вашу судьбу», — заметил на прощание индус.

Александра Вениаминовна ему конечно же не поверила. Предстояли новогодние праздники, она собиралась в Москву. И очень быстро о словах незнакомца позабыла.

Но все случилось именно так, как он и предсказал.

Только это был трамвай, под колесо которого затянуло ногу несчастной женщины. В итоге ногу ампутировали выше колена. Да и обратно в Париж Александру Вениаминовну уже никто не выпустил.

В тот момент, а за окнами стояла уже зима 1935 года, когда ее затянуло под трамвай, она и вспомнила о той встрече в парижском ресторане.

В Москве Александра Вениаминовна работала режиссером в замечательной молодежной студии в Столешниковом переулке, которую потом зверски разогнали. Там ставили прекрасные пьесы на идише.

Кстати, и в Еврейском театре тоже играли на идише. Там я видела Михоэлса на сцене, он был потрясающим королем Лиром.

Мы с мамой ходили на этот спектакль и были потрясены. В конце Лир Михоэлса выходил на сцену с мертвой Корделией. И за кулисами раздавалась то ли песня, то ли стон. Весь зал затихал в ожидании. А Лир обращался с Корделией, как с живой, и пел ей песенку на идише. С этой песней он и умирал сам. Впечатление было грандиозное.

Другая наша встреча с Михоэлсом состоялась в Кратово, когда он приезжал на дачу к Азарх-Грановским. Глава семьи тогда был уже предан анафеме, конечно. Потому он и не думал возвращаться из Парижа. А Михоэлс продолжал дружить с его женой и ее сестрой.

Во время той встречи, помню, мы сидели в доме. Александра Вениаминовна расположилась на диванчике, у нее была искусственная нога, и ходить она могла только на костылях.

Разговор с Михоэлсом у них был профессиональный. Но я слушала с интересом. Знаменитый режиссер говорил о постановках, о короле Лире, который был его любимым героем.

Ту дачу мы сняли, как я уже говорила, случайно.

А с нашими соседями познакомились так. С моей двоюродной сестрой мы пошли в лес. И увидели, как навстречу нам идет мальчик лет шести-семи, с челкой черной, которая падала ему на лоб, и с корзиночкой в руках. Приблизившись к нам, он сказал:

— Простите, не случалось ли вам в этом лесу встречать кота по имени Васька?

Мы ошалели — ребенок изъясняется таким языком! Ответили, что кота не видели, и поинтересовались, почему мальчик один по лесу ходит.

— Да, я уверен, что моей матушке причиняю сейчас большое беспокойство. Она все время переживает, как бы я куда не ушел. Но я люблю быть в лесу наедине с собою.

Мы спросили, где он живет. И тут мальчик называет наш адрес. При этом он посмотрел в наши корзинки:

— Да, в грибах я тоже разбираюсь. А еще люблю цветы, растения и насекомых. У вас больше всего собрано губчатых, они съедобны.

В конце концов мы привели его домой. Мать переживала страшно: ребенок был поздним и являлся целью всей ее жизни.

— Юлик, где ты был?! — обратилась она к нему.

— Я знал, что ты будешь в своем привычном состоянии беспокойства, но тебе надо с этим смириться.

Мы узнали, что это был сын Раисы Вениаминовны.

Он у нас был домашним философом. Когда началась война и они собирались в эвакуацию, Юлька сидел и слушал радио. Левитан громовым голосом говорил: «Наши войска после боев оставили город Вязьму и ушли на заранее подготовленные позиции. Фашистская гадина бежит».

Юлька слушал-слушал, а потом громко спросил:

— Говорят, что фашистская гадина бежит. Но интересно отметить, что она почему-то бежит не назад, а вперед.

Сестры в один голос восклицали:

— Этот ребенок нас посадит!..

Вот такое это было дитя. Потом он стал биологом, профессором. К сожалению, он уже скончался.

В Кратово мы все стали большими друзьями.

Благодаря своим дачным соседям я познакомилась и с Фальком. Это произошло уже в Москве. Роберт Рафаилович тогда был женат на Ангелине, преподавателе немецкого языка.

А его первой женой была Раиса Вениаминовна, сестра

Александры Азарх-Грановской. Раиса была художницей, но занималась главным образом Юлькой.

Когда они находились в Средней Азии в эвакуации, Юлька наловил скорпионов и в коробке притащил их домой. А потом еще и привез в Москву. Среди этих жуков у него был любимец, которого звали Сенька. Я как-то пришла к ним в гости, и как раз в день моего визита этот Сенька сбежал из коробки. Юлька закрылся в своей комнате, переживал. Я постучалась и вошла:

— Можно?

— Собственно говоря, вы уже вошли. Я боюсь, что вы являетесь угрозой для жизни Сеньки.

— Если бы она оборвалась, мне было бы легче.

— Да, я представляю ваше полное непонимание природы.

Такой вот у нас состоялся диалог…

* * *

Отцом Юльки был художник Лабас. Раиса вышла за него замуж только для того, чтобы удержать Фалька от возвращения в Россию.

Роберт Рафаилович рвался сюда из Парижа, а она так боялась, что его арестуют, что вышла замуж за этого Лабаса, который за ней долго ухаживал. Кстати, Юлька отца своего не признавал. И Раиса Вениаминовна с ним не жила. Но официально вышла замуж и написала Фальку: «Роби, я вышла замуж».

А художник все равно вернулся в СССР, это произошло в 1937 году. Но Бог его хранил, и Фалька не тронули…

* * *

Фальк был человеком удивительной мудрости, с чувством юмора. Он жил неподалеку от нас, на Кропоткинской, в доме Перцова. А друзья наши общие жили во дворе старинного чайного магазина на улице Кирова, сейчас это Мясницкая. Поэтому, когда метро уже было закрыто, мы от них домой возвращались всегда вместе пешком.

Фальк рассказывал мне о своей жизни, о годах, проведенных в Париже. Он же с 1928 до 1937 года прожил во Франции.

Когда вернулся, его хотели арестовать. Спас Константин Станиславский, его бывший тесть.

Кира Константиновна Алексеева, дочь Станиславского, была второй женой Фалька. Через которого, как он говорил, мы

находились с ним в родстве. Ведь Алексеевы (а именно эта фамилия была у Станиславского, взявшего себе псевдоним, чтобы избежать гнева родителя-купца) были родственниками Прохоровых.

Фальк обожал Станиславского. И в шутку говорил, что женился на Кире из-за любви к ее отцу. Константин Сергеевич тоже очень любил своего зятя. А вот супруга Станиславского Мария Петровна Лилина относилась к Фальку весьма прохладно.

Роберт Рафаилович рассказывал об одном эпизоде, который иллюстрировал взаимоотношения внутри семейства.

На одном из ужинов в доме Станиславского было много гостей. Фальк сидел за столом рядом с Константином Сергеевичем и напротив Марии Петровны. Так получилось, что, задумавшись о чем-то, Роберт Рафаилович локтем задел бокал с красным вином, стоявшим перед ним, и опрокинул его на белоснежную скатерть.

Все сделали вид, что ничего не заметили. Официанты мгновенно сменили скатерть, а перед Фальком поставили новый бокал. Но и его постигла та же участь. Буквально через пять минут художник снова опрокинул посуду.

На сей раз Станиславский улыбнулся неловкости зятя, а Лилина одарила его строгим взглядом. А официанты снова постелили чистую скатерть и снова поставили новый бокал. Но прошло всего несколько мгновений, как Фальк, потянувшись к какому-то блюду, вновь опрокинул бокал с вином. Станиславский уже не мог сдержаться от хохота, а лицо Лилиной от негодования пошло красными пятнами.

Фальк, который был человеком абсолютно лишенным какой бы то ни было практичности, в конце концов ушел из семьи Станиславского. Но не из-за своей неловкости за столом, разумеется.

А отношения с Константином Сергеевичем, бывшим, напротив, несмотря на всю свою безусловную гениальность, весьма земным человеком, у него сохранились до самой смерти Станиславского…

* * *

Роберт Рафаилович для своих лет был очень спортивным человеком — показывал, как надо быстро ходить: мелкими шагами, делая при этом энергичные движения руками. А я, хоть совсем тогда молодая была, не могла его догнать. Приходилось бежать за ним и просить: «Роберт Рафаилович, остановитесь!»

Как-то возвращались мы с ним домой. На ходу я увидела рекламный плакат, на котором была изображена укротительница Ирина Бугримова со львами: лев раскрыл пасть, в которую дрессировщица положила свою голову. Я, всегда любившая животных, начала возмущаться: «Хоть бы этот лев пасть закрыл и откусил ей голову! Как же можно так издеваться над животными! Негодяи, как я их ненавижу! Это, наверное, какая-то бандитка! Нашла, понимаешь, себе работу — мучить зверя, ему еще пасть надо разевать. Воображаю, какая у этой женщины семейка!»

В общем, шагаю и разглагольствую вовсю, а Фальк идет рядом и молча слушает. Только после того, как я закончила свою гневную тираду, он произнес: «А вы знаете, ведь это прекрасная профессорская семья. Я с ними со всеми хорошо знаком. И животных они ужасно любят».

Мне неловко стало: «Что же вы меня не остановили, Роберт Рафаилович?» А он улыбнулся: «Нет, отчего же, вы так воодушевленно говорили…»

Он сам тоже очень любил животных, даже крыс. Помню, тогда их было видимо-невидимо.

— Ну они же тоже жить хотят, — говорил он мне.

— Пусть живут, но только подальше от меня, — отвечала я.

Он улыбался…

У нас была общая знакомая — художница Анна Ивановна Трояновская, пылкая очень дама. Она тогда уже пожилая была, седая.

Однажды мы с сестрой Любой сказали Фальку: «Роберт Рафаилович, а Анна Ивановна в молодости, наверное, хорошенькая была».

Он помолчал, обошел ее, внимательно осмотрел, а потом говорит: «Нет, знаете, сейчас лучше…»

* * *

Не скажу точно год, но еще до Первой мировой войны у Роберта Рафаиловича вдруг началась страшнейшая депрессия. Хотя поводов к ней, казалось бы, никаких не было — он довольно успешно преподавал у себя во ВХУТЕМАСе, родители его были людьми состоятельными, семья ни в чем не нуждалась. Но вот — началась депрессия.

Потом уже Фальк рассказывал мне: «Я физически стал чувствовать, что мне тяжело шевелиться, словно на мне надет ледяной панцирь, который мешает дышать». Его даже за границу возили лечиться. Но все было бесполезно и кончилось тем, что

Фальк молча лежал все дни на диване, отвернувшись к стенке, и не хотел вставать.

А у него была старая нянька, которая в один из дней предложила ему пойти к священнику отцу Алексею, жившему на Маросейке. «Я не то чтобы атеистом был, — вспоминал Фальк, — но совсем не хотел видеть человека, который будет надо мной читать какие-то молитвы».

Роберт Рафаилович был крещен. Хотя одно время говорил, что неверующий. Все изменилось после того знакомства с отцом Алексеем. На их встрече настояла нянька. Да и самому художнику так было плохо, что он согласился и пошел с ней.

Дверь им открыл старичок: «А-а, вы художник, мне Дуся говорила, заходите».

Фальк ожидал, что тот начнет немедленно что-то читать над ним. А священник показывает в сторону стола с плюшками и предлагает выпить чаю. «И мне вдруг так хорошо стало, — говорил Фальк, — что я сел за стол и начал пить чай. А отец Алексей говорит: „Вы же художник, как это прекрасно — все можете изобразить. Ну, расскажите, где вы были, что видели“».

И Роберт Рафаилович, с удивлением для самого себя, начал рассказывать. А старичок слушает и только говорит: «Какой вы счастливый, вы же все это можете изобразить».

Так и закончился вечер, никаких молитв отец Алексей произносить не стал. А Фальк, уходя, попросил разрешения еще раз прийти к нему. «Обязательно, — ответил священник. — Каждую субботу и приходите».

И Фальк стал ходить на Маросейку. И со временем депрессия исчезла.

— Что с вами происходило, Роберт Рафаилович? — спросила я.

— От этого священника исходила такая доброта, — ответил он, — что я чувствовал, как тот ледяной доспех, который стискивал меня, постепенно таял.

Когда осенью 1911 года Фальку предложили поехать в Италию, он хотел отказаться, так как испугался — а как же вечера на Маросейке. И сказал о своих опасениях. «А вам больше ничего не надо, — успокоил его отец Алексей. — Все прошло и больше никогда не повторится». Только на прощание перекрестил его: «Господь с вами. Вас ждут непростые испытания, но все будет хорошо».

И действительно, что бы потом ни происходило в жизни Фалька, какие бы испытания ни выпадали — и болезни, и высылка, и критика, — депрессия не возвращалась. «Я понял, что есть Высшая Сила, которая выше зла, которая все побеждает, —

говорил он. — Отец Алексей вылечил меня — святостью своей и удивительной добротой. Благодаря ему я понял, что существует Высшая Сила, которую люди называют Богом…»

Потом про отца Алексея стали много писать, и сейчас его почитают как святого. В церкви на Маросейке, где он служил, его рака стоит.

Отец Алексей отличался исключительной добротой ко всем, кто бы к нему ни приходил: пьяница, вор, атеист…

Когда начался разгар дикой травли художника — ему запретили преподавать и выставлять свои работы, Рихтер решил устроить у себя дома его выставку Меня послали к Роберту Рафаиловичу, чтобы узнать его пожелания — что он сам хочет, чтобы было на выставке.

Потому что Нина Львовна Дорлиак, например, хотела пригласить на нее Илью Эренбурга, кто-то предлагал позвать еще каких-то чиновников.

А Фальк ответил: «Я хочу, чтобы выставка была открытой, на ней просто присутствовала молодежь и звучала музыка». И так оно и было.

А критика…

Как только не пытались унизить Фалька, какими словами его не ругали. Самым мягким было слово «формалист».

А Роберт Рафаилович оставался совершенно спокойным.: «Ну и пусть ругают, — говорил он. — Ведь если, например, станут говорить, что у вас пушистый хвост и вы сможете доказать, что это не так, они же не перестанут так говорить. Я спокойно ко всему этому отношусь, пусть».

После того как на выставке в Манеже в 1962 году его картину «Обнаженная» раскритиковал Хрущев, работу Роберта Рафаиловича в народе стали называть «Голая Валька».

Сам Фальк спокойно относился к этой критике. Говорил: «Я от Хрущева ничего другого и не ждал. Слава богу, что не арестовал».

* * *

Стенограмма высказываний Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева возле картины Роберта Фалька, выставленной вместе с работами других художников в Манеже в декабре 1962 года.

«— Вот я хотел бы спросить, женаты они или не женаты; а если женаты, то хотел бы спросить, с женой они живут или нет? Это — извращение, это ненормально.

Во всяком случае я, председатель Совета министров, ни копейки не дал бы, а кто будет давать деньги на этот хлам, того будем наказывать, а печать не поддержит.

Между прочим, группа художников написала мне письмо, и я очень бурно реагировал. А когда посмотрел на факты, на которые ссылаются, я их не поддерживаю. Сказали, что вот в „Неделе“ были, мол, снимки; я видел эти снимки — ничего „страшного“ там нет. Так что у меня свое мнение есть, своего горючего достаточно, и мне подбавлять не стоит.

Я бы, например, сказал тем людям, которые увлекаются всякого рода мазней, не рисуют, не создают картины, а буквально мажут их: вы, господа, говорите, что мы, видимо, не доросли до понимания вашего искусства. Нет, мы, наш народ понимаем, что хорошо, а что плохо. И если эти, с позволения сказать „художники“, которые не хотят трудиться для народа и вместе с народом, выразят желание поехать за границу к своим идейным собратьям, то пусть они попросят разрешения на выезд, в тот же день получат паспорта и пусть там развернут, дать им свободу в „свободных“ государствах, и пусть они там хоть на головах ходят. Но у нас покамест такое „творчество“ считается неприличным, у нас милиционер задержит.

<…> Ни копейки государственных средств не дадим. Тут уж я, как председатель Совета министров, беру всю беду на себя. Поощрять действительное искусство. А это — искусство, когда картину пишет осел, когда его муха начнет кусать, и чем больше она его кусает, тем он создает „сложнее произведение“.

Но некоторые, видимо, стали стыдиться, что мы действительно, может быть, не доросли? Пошли к чертовой матери! Не доросли, что делать! Пусть судит нас история, а покамест нас история выдвинула, поэтому мы будем творить то, что полезно для нашего народа и для развития искусства.

Вот он накрутил… Вот я был в Америке, видел картину — женщина нарисована. Я говорю: „Боже мой, какой отец, какая мать родила, почему так неуважительно относишься, почему юродство такое?“

Сколько есть еще педерастов; так это же отклонение от нормы. Так вот это — педерасты в искусстве.

Не сушите „таланты“; мы готовы дать им разрешение на выезд из нашего государства. Зачем глушить, если это талант? Пусть история оценит…»

На этом гневный глас Хрущева, который в одном все-таки оказался прав — история и правда все оценила, умолкает.

* * *

Фальк был независимым человеком, умел абстрагироваться ото всего. И всегда вспоминал отца Алексея.

Хотя был человеком с темпераментом, мог горячо говорить об искусстве, но оставался совершенно неуязвим к злобной критике.

Жил он довольно скромно. У меня так и стоит перед глазами картина — Роберт Рафаилович идет по улице, а в руках у него авоська с капустой и морковью. Он же был вегетарианцем.

Фальк был дружен с Петром Кончаловским и Алексеем Толстым. Он как-то рассказал мне о своих встречах с Толстым. Говорил, что Толстой настолько погрузился в свою помещичью жизнь, что Фальк принял решение к нему больше не ходить.

Оказывается, однажды Фалька позвали на день рождения Толстого. Они были на «ты». И во время застолья Толстой спорил с Кончаловским. Причиной спора стали две свиньи — Брунхильдочка и Кримгильдочка, которых прикончили и приготовили на обед.

Все происходило на Николиной Горе, на даче. И гости должны были решить — какая свинья лучше. «Меня такой ужас обуял, — вспоминал Фальк, — что я решил больше к ним ни ногой».

А Толстой его еще уговаривал: «Смотри, какое мясо вкусное, ну, съешь кусочек. Это моя Кримгильдочка, она в тысячу раз лучше, чем Брунхильдочка».

И Фальк туда больше не ходил. Он был в этом отношении неумолим. Хотя неизменно вежлив…

* * *

Я хорошо знала его последнюю жену. И когда в компаниях к Фальку начинали приставать какие-то девицы, я говорила: «А вот Ангелина Васильевна, Роберт Рафаилович, плохо себя чувствует. Может, домой пойдете?»

Дамы были на меня злы, я думала, что, может, и Фальк сердится. А потом узнала, что, приходя домой, он первым делом говорил: «Геля, Вера — твой настоящий друг».

Роберт Рафаилович был человек, удивительно понимающий людские слабости, снисходительный к ним, но абсолютно твердый в смысле своих принципов верности искусству. Не было никаких подачек, никаких взяток, ни чего-то еще.

Как-то, когда его в очередной раз простили, к нему в мастерскую пришла целая делегация чиновников смотреть картины. А мы со Светой должны были с ним встретиться насчет его выставки. И тогда Светик послал меня к Фальку, чтобы как-то

высвободить от этого сонма ничего не понимающих в живописи людей.

Я зашла и извинившись, что отвлекаю от важной встречи, попросила уделить время для чрезвычайно важного дела. Чиновники, злобно смотря на меня, стали уходить.

Неожиданно Фальк обратился к замученному, бледному, плохо одетому средних лет человеку, который тоже направился в сторону дверей: «А вы оставайтесь, сейчас будем картины смотреть по-настоящему. А эти… ну их, они все равно ничего не понимают». Это был Вася Шереметев, с которым я росла в Царицыно, уже прошедший ссылку. Ради него Роберт Рафаилович показал все картины, рассказывал о них.

Фальк никогда не заботился о себе.

Он перенес 8 инфарктов, все на ногах.

Для него никогда не было важно собственное здоровье. Он думал о других людях.

Вот таким он был человеком…

Эпилог

Основная часть этой книги была закончена в 2009 году. А потом почти два года мы встречались с Верой Ивановной, я читал ей записи наших разговоров и вносил те правки, которые она считала необходимыми. Главным образом Прохорова просила смягчить оценки, которые дала великим знакомцам во время своих монологов.

Иногда она просила еще раз перечитать тот или иной абзац и говорила: «А это пусть останется так. Может, мне и не поверят. Но правду должны знать».

* * *

Это ведь очень большая ответственность перед памятью тех, кого мне посчастливилось встретить. А я всю жизнь больше всего боялась ответственности. Я даже ни одного кота из тех, что у меня были, не смела купить. Ко мне переходили кошки, которые до этого жили у нас в общей квартире.

Соседи говорили: «Вера, ну одолели мыши!» — и брали кошку. А уже через неделю начинали обращаться ко мне с претензией: «Вера, а вот ваша кошка нашу рыбу съела!» или что-то подобное.

И когда я уже переезжала на эту квартиру, то не могла их оставить. Это вот Пискун, потому что он все время пищит. А это Грейси, ее Наташка Гутман притащила…

Вам я просто рассказывала о том, что было. И перед иконами могу сказать, что все это правда. Иконы у меня — частью семейные.

А часть мы с моим племянником Сережкой спасли. Как-то были во Владимире и решили заехать в расположенную неподалеку церковь Покрова на Нерли.

Когда мы туда приехали, какая-то старушка обратилась к Сережке: «Ты что, верующий?» Он ответил: «Да». Тогда она отдала ему иконы, которые ей удалось сохранить.

Но они не кисти великих мастеров. Из рублевских икон, как рассказала та женщина, комсомольцы ступеньки клали.

«А другие они на двор натащили, чтобы сжечь. И я их спасла».

Так поступали комсомольцы, потомки тех, кто возводил храм…

* * *

Когда у меня берут интервью, то расспрашивают про Прохоровых, реже про Гучковых и Боткиных.

Предки мои были людьми интересными.

По линии бабушки Полуэктовой, папиной мамы, в родстве с нами состояла правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Мезенцова. Она была замужем за родственником бабушки. Я Наталью Сергеевну хорошо знала. Она ведь умерла сравнительно недавно, чуть не дожив до 200-летия Пушкина.

В Наталье Сергеевне чувствовалась порода, в ней была стать. Она рассказывала мне о старшей дочери поэта, Марии Гартунг, которая после революции жила в общей квартире, в клоповнике.

Мария Александровна была первым ребенком Пушкина. У нее был какой-то несчастный брак, я это по семейным преданиям знаю.

Она прожила большую жизнь: родилась в 1832 году и умерла в 1919-м.

Мария Александровна буквально нищенствовала. Когда становилось совсем невмоготу, отправлялась на Тверской бульвар к памятнику отцу и рассказывала бронзовому Пушкину о своих бедах.

В конце концов, пошла на прием к наркому просвещения Луначарскому. Он принял ее и обещал помочь дочери Пушкина. Но в итоге ни пенсии, ни отдельной квартиры Мария Александровна так и не получила. Лишь в день ее похорон вышло постановление о выделении пенсии, тоже, между прочим, копеечной. Гартунг умерла в 1919 году на руках Мезенцовой.

Мы ее называли тетя Наташа. Помню, как она возмущалась: «Ну в какой бы еще стране мог быть такой министр культуры, который дал роскошный особняк босоножке Дункан и при этом оставил в нищете дочь Пушкина?»

* * *

Через Гучковых наш род оказался связан и с Рахманиновым. Дедушкин брат Константин Иванович был женат на двоюродной сестре композитора, Варваре Зилоти.

Константин был младшим сыном Ивана Гучкова, старшие братья его баловали.

Я, конечно, с Рахманиновым знакома не была. Но с ним встречалась моя любимая тетка Вера Трейл, о которой я рассказывала. Она называла Рахманинова просто «дядя Сережа».

Правда, они не сошлись во взглядах политических.

Вера же была, к ужасу отца, яростной коммунисткой. И, встречаясь за границей с Рахманиновым, и его пыталась совратить в коммунизм. Но это ей не удалось, конечно. Рахманинов говорил, что Россия — это Россия, а СССР — это совсем другое.

Вера, когда приезжала в Москву, рассказывала мне об удивительной любви Рахманинова к России. Тот даже просил, чтобы Вера, уезжая из СССР, привезла ему ростки березок.

* * *

Я потом об этом рассказывала Светику. Но Рихтер из наших композиторов любил больше всего Сергея Прокофьева. У того, кстати, был очень непростой характер. Гели он, например, ждал вас к восьми часам, а вы приходили на пятнадцать минут позже, он мог уже и не принять.

Но Святослава любил. Девятая соната Прокофьева посвящена Рихтеру.

Светик ведь и дирижировал — единственный раз в жизни — именно произведением Прокофьева.

Светик потом переживал, что Прокофьев умер в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года. «Подумать, умереть в один день с таким чудовищем», — говорил он.

Не знаю, был ли Рихтер на похоронах Прокофьева. Я в то время находилась в лагере. Но хорошо помню воспоминания Светика о том, как он играл на похоронах Сталина. Так получилось, что педаль в рояле запала и он полез под инструмент. К нему тут же подбежали бледные, как смерть, два охранника. «Они видно думали, что я хочу взорвать Колонный зал», — смеялся Рихтер.

Я столько вспоминала про Светика. А мне ведь про Рихтера вопросов почти не задают. Но это, наверное, и правильно. Какое я к нему имею официальное отношение?

* * *

Богу было угодно, что моя жизнь оказалась длинной. По ночам разные картины из нее возникают. Засыпаю поздно. Раньше ведь до четырех утра не ложились. Так и осталась ночным человеком. Только в лагере все по часам происходило, я уж думала, что никогда больше не высплюсь. Там же в шесть утра

ударом о рельс поднимали.

Сегодня для меня утро начинается после девяти часов. Ночью — все время мое, никто не звонит, не беспокоит. Все затихает, и я вспоминаю. Эпизодами все приходит.

Конечно, родителей вспоминаю. Они не являлись особо примечательными людьми, но были преданы семье, были людьми большой души.

Папа и мама оставались жизнерадостными и любили людей, несмотря на все тяготы, которые им довелось испытать.

Я ни разу не слышала от них слово «ненависть». И очень им благодарна за свое детство. Мне Царицыно, где мы жили, казалось раем земным. Никогда не забыть вишневые сады, которые каждую весну стояли, как молоком облитые, в цвету…

Дедушка Прохоров водил папу на фабрику, начиная с 10 лет. И потом папа мне рассказывал о Трехгорке не как об утраченной собственности, а как о какой-то сказке. Там жили станки, у них была своя душа, они радостно работали и пели. А когда машины заболевали, то хрипели и их надо было лечить. И для меня Трехгорка тоже являлась сказочным царством.

Я никогда не слышала от своих родителей проклятий, жалоб. Они дали мне такой заряд счастья, которого мне хватило на всю мою немалую жизнь.

Папа умер через десять лет после революции. Он завещал похоронить себя на Ваганьковском кладбище, неподалеку от Трехгорки. Его гроб рабочие несли на руках. На простой полотняной ленте кривыми буквами тушью написали: «С тобою хороним частицу свою, слезою омоем дорогу твою».

Когда я была арестована и мне стали говорить о полученном родительском наследстве, я сказала, что да, получила. Ту самую ленту, которая хранится у меня по сей день.

Единственное богатство, которое мне досталось от родителей, это серовский портрет. После войны у нас были такие долги, что второй портрет маминой сестры пришлось продать.

Его купила балерина Гельцер. Она спросила, кем мне приходится Прохоров. И узнав, что отцом, грустно улыбнулась: «Да, Ваня был чудесным человеком, я его хорошо помню».

Папа дружил со всей богемой Москвы, часто бывал в Художественном театре, знал Москвина и Шаляпина, очень любит цыган, у «Яра» бывал. Дедушка тогда и сказал: «Ну, тебе пора жениться».

* * *

Встреча с мамой произошла на благотворительном балу. Тогда было принято, чтобы дочери состоятельных предпринимателей и дворян торговали на базарах, которые устраивались в пользу неимущих.

Сначала был бал, а в антрактах девушки ходили с подносами и продавали всякие безделушки, картины начинающих художников, предметы туалета… Если вещь стоила, например, 10 рублей, то купец давал тысячу. Это все хорошо показано в старом фильме «Анна на шее».

Даже если купец был скуп, он не мог не дать, скажем, тысячу, когда дочь Морозова или Мамонтова, красивая девушка, подходила и предлагала что-то купить.

Из уст в уста передавали историю об одном купце. Ему предложили приобрести картину. «Я не интересуюсь живописью», — ответил он. Тогда ему предлагают книгу. В ответ слова: «У меня уже есть своя библиотека». Наконец, скряге предложили мыло, и тут он уже не мог отказаться.

Вот так и моя мама тоже торговала.

Дедушка Прохоров обратил внимание отца на маму, сказав, что это очень хорошая семья. При том, что Николай Иванович Гучков не был очень богатым, а сам Прохоров тогда уже был миллионером.

Дедушка Гучков думал, что папа женится на его старшей дочери — Любе, она тоже была на выданье. Но папа выбрал маму, они были ровесники. Папа 1890 года рождения, мама — 1889-го. Он стал приезжать к Гучковым в дом, полученный бабушкой Верой Петровной в наследство от Боткина.

Мама потом рассказывала, как весело они проводили время. У папы вились волосы, просто кольцами лежали. Сестры Гучковы думали, что он специально завивается. И как-то решили облить его водой. Но после этого кудри у папы еще больше завились.

Свадьба у родителей была широкая, играли ее в Петербурге в 1910 году. Кто-то из родственников был болен и не мог приехать в Москву. На свадьбе были представители и от фабрики, от рабочих. Где-то есть фото, на нем видно, как много народу присутствовало — рядами стоят. В первом — папин брат Тиша, так звали Александра Алехина, в будущем единственного чемпиона мира по шахматам, который умер с титулом чемпиона.

Дедушка Прохоров все оплатил. А потом родители поехали путешествовать за границу — были в Италии, Австрии, Франции.

Лучшие врачи Европы сказали маме, что у нее не может быть детей. А через семь лет появилась я. Родилась в июне, а зародилась, получается, под гром «Авроры», в октябре 1917 года.

* * *

Первый железный занавес опустился для меня, когда умер папа. Я не могла поверить, что моего папы больше нет. Ему ведь было всего 37 лет.

У него была язва, ему сделали операцию в Боткинской больнице. Но сердце не выдержало.

Это было первое сокрушительное горе. На чьем-то дне рождения, кажется, тети Любы, папа что-то съел, и у него случился приступ. Его отвезли в больницу, откуда папа уже не вернулся.

Помню, как мама утром приехала из больницы, она там все это время ночевала, и попросила морфию «для Вани». Мы с братишкой остались с бабушкой. Она мужественно вынесла горе — умер старший любимый сын.

За самой бабушкой ведь охотились чекисты, пытались арестовать. Но она была фактически бездомная, жила то у одних, то у других родственников. И благодаря этому уцелела. Бабушка Гучкова, к счастью, умерла до революции, в 1915 году.

Я не по интеллекту, а по тому, как у меня все валится из рук, пошла именно в бабушку Прохорову. Мы когда с ней читали, например, «Дети капитана Гранта», то по карте смотрели маршрут движения кораблей. Бабушка все время что-то читала мне, рассказывала. Говорят, у меня память хорошая. Мне кажется, обычная память. Но все, что есть — это благодаря бабушке Прохоровой. Ее не стало в 1928-м…

* * *

После Царицыно мы переехали в Черкизово. Там я впервые узнала мат. Пришла к маме и произнесла трехбуквенное слово. Мама удивилась, откуда я его знаю. Ну я и объяснила, что на заборе увидела и прочитала.

Вообще, Черкизово мне запомнилось как очень неприятное место. С одной стороны от нашего дома находилось кладбище, а с другой — какое-то грязное водовместилище, где, несмотря на его малый размер, каждое воскресенье умудрялись тонуть местные пьяницы.

Слава Богу, там мы задержались недолго. И через год перебрались уже в Нащокинский переулок.

Это случилось после смерти папы. Никогда мне не забыть, как тетя, у которой мы были в гостях, пыталась приготовить меня к тому, что папы больше нет. Я не верила. И только когда мама

пришла уже в трауре, я смогла поверить.

Первый сочельник мы с мамой и братишкой провели у папы на Ваганьковском кладбище. Поставили в его склепе елочку и встретили Рождество 1928 года.

В 1945-м году там же похоронили и маму.

Она умирала от рака и скрывала это от меня. А я ее забросила из-за Святослава, у нас тогда вовсю развивались отношения. Потом я долго не могла себе этого простить. Мы со Славой гуляли, проводили все время вместе, а мама была одна.

О том, что у нее рак, знала только моя двоюродная сестра Люба. Мне мама запретила говорить об этом. Я думала, что она просто простужена.

Мама умерла 3 августа, а я узнала о смертельном диагнозе лишь в июле. Какой-то врач известный, Давыдов по-моему, его фамилия, пришел к нам домой. Мама на тот момент уже слегла.

Когда врач уходил, то сказал:

— Замечательная женщина ваша мама.

Я в ответ спросила:

— А когда она поправится?

Доктор удивился:

— Как поправится? Вы разве ничего не знаете? Ей осталось жить меньше месяца.

Я запомнила то мгновение на всю жизнь. Почему-то в памяти осталось не лицо врача, а щель в полу, от которой я тогда не могла отвести глаз.

— Как меньше месяца?

— У вашей мамы последняя стадия рака. Но мы сделаем все, чтобы она не мучилась.

И правда, ей кололи морфий, мама находилась в сознании и хорошем настроении. Но я все равно такую вину за собой чувствовала. Я ведь у нее одна была.

Мой родной брат не вернулся с фронта. Коля работал в каких-то авиационных мастерских. Он моложе меня на два года. Официально считалось, что он пропал без вести.

Мама ждала его всю войну. Сама она дожила до победы. И, по счастью, о трагической судьбе Коли так и не узнала.

Когда мамин портрет был на выставке, которую устраивал Рихтер, Светик подготовил буклет. И на его страницах рядом с репродукцией серовской работы написал: *«Я жил в доме Надежды Николаевны Прохоровой (Гучковой) в тяжелые дни войны и был принят там просто и по-родственному. Это был дом со старыми московскими традициями — добрый, русский, готовый поделиться всем, что есть.*

… Неожиданно с фронта на один день пришел младший сын

Надежды Николаевны и поздно вечером ушел, чтобы больше не вернуться. Она провожала его через затемненную кухню. Я никогда не забуду, как она смотрела вслед уходящему мальчику…

… До последнего дня ее жизни я был рядом с ней».

* * *

Незадолго перед уходом мама спросила у нас со Светиком, будем ли мы вместе. Мы обещали. Тогда мама взяла маленькую иконку и благословила нас.

Но о свадьбе, как о форме регистрации отношений, мы не думали тогда. Это как-то никогда не было важным. Когда Светик все-таки начинал разговоры о том, чтобы мы поженились, я говорила ему, что ничего не могу делать по дому, по хозяйству. И что ничего путного, что ему надо, дать не смогу. «Посмотрим», — отвечал он.

Светик ко мне всегда удивительно относился. Любил ли он меня? Конечно. Недаром у нас было чувство, что мы всегда будем вместе.

Я ему говорила: «Ты же знаешь, как я тебя люблю». И он мне отвечал: «А ты знаешь, как я тебя люблю».

Я всегда где-то думала, что не смогу быть идеальной женой Рихтеру. И закреплять наши отношения не торопилась. Одна мысль, что я смогу ему помешать… Хоть в чем-то…

Я прямо сказала ему: «В какой-то ситуации я могу стать тебе в тягость. А этого допустить я не могу. Потому что ты никогда мне этого не скажешь и не покажешь. А для меня это будет невыносимо».

И так получилось, что место возле него заняла Нина Дорлиак. Я ведь рассказывала, что сама уговорила Светика поехать в ту двухнедельную поездку на корабле, которую устроила Нина.

Рихтер поначалу уперся.

— Свет, ты что, с ума сошел? Такая женщина о тебе заботится, — говорила я ему. Он тогда очень похудел, ему нужно было отдохнуть.

— Не хочу одалживаться, — ответил он.

Я дала ему авоську с едой, чтобы он не выглядел совсем уж нищим, взяла за руку: «Светляк, пойдем», — и отвела к Нине на Арбат.

Потом Светик признался, что предчувствовал что-то нехорошее…

Он начал все больше и больше выступать. После победы на конкурсе Чайковского много гастрольных поездок стало.

Знаете, он ведь не хотел участвовать в том конкурсе. Но Генрих Густавович, который очень хотел, чтобы его ученики показали себя, уговорил.

Первую премию Светику дать не смогли, он ведь был немцем по национальности. Официально победителями стали Рихтер и Виктор Мержанов.

Мы с сестрой результаты конкурса узнали утром. Светик в тот момент еще спал. Тогда мы с Любой на коленях заползли в его комнату и принялись шутливо кланяться: «Светик, первая премия, поздравляем. Первая премия». А он, проснувшись, кидался в нас подушками…

После того круиза, где между ним и Ниной Дорлиак, видимо, что-то произошло, Светик еще приходил к нам. И все время писал.

А как-то спросил, что о нем говорят. Я ответила, что о нем ничего не говорят. Зато говорят о Дорлиак, у которой, будто бы, с ним роман.

Сказала и вдруг заметила, как он изменился в лице.

— Это что, правда?

— Правда.

— Ну, тогда все, Свет.

— Как все? Я не женат.

— Что значит, не женат?

— Я никогда на ней не женюсь.

— Что значит, не женишься?

И прямо сказала, что между нами все кончено. Настолько я была потрясена его поступком.

Потом, уже после смерти Рихтера, Нина Львовна сумела оформить задним числом их брак. Коррупция ведь и раньше была. Нина привела свидетеля, который подтвердил, что брак между Дорлиак и Рихтером был заключен, но свидетельство о браке утеряно…

Но все это случится потом. А в сороковых, когда я узнала о случившемся между Светиком и Ниной, все было иначе. Это известие перенесло наши отношения в совершенно другой пласт.

Кроме того, это было уже после трагедии Светика с родителями. После предательства мамы сама идея брака стала для него эфемерной. Она была истерзана и истоптана.

И знаете, когда Слава начал жить с Ниной, мне стало легче. Потому что я могла был одна и попытаться пережить уход мамы.

Потом мы, конечно, со Светиком объяснились. И наши отношения вернулись на прежний уровень.

Для меня он никогда не будет Рихтером. Для меня он был Слава, Светик, Светляк.

Как только мы первый раз увиделись, у меня сразу появилось чувство, что я его знаю уже очень давно. Мы мгновенно подружились.

Когда Рихтер стал жить у нас, дружба перешла во влюбленность. А потом и в любовь.

* * *

У него все время были какие-то романы. И весь тот бред, который накручен вокруг его якобы гомосексуальности… Это абсолютно извращенное понимание его натуры.

Мы с ним откровенно обо всем говорили. Когда затронули эту тему, он сказал: «Випа, мне может кто-то нравиться из мужчин, но это лишь эстетическое чувство, лишь какая-то дружеская влюбленность. Как Гамлет и Горацио, или дружба принца Карла у Шиллера… Физические же отношения между мужчинами мне чужды».

Светик любил женщин. Я знала одну пианистку, в которую он был влюблен. Она старше его была. Потом где-то в Баку у него случился роман. Часто это происходило из-за вежливости Светика. «Я не могу видеть, как женщина унижается», — говорил он.

Что только о нем не пишут! Кроме одного — правды.

Его первой любовью была балерина де Плер. Она служила в одесском театре, куда 17-летнего Светика устроили тапером. Муж моей сестры Игорь Шафаревич говорил: «Рихтера можно было с таким же успехом устроить тапером в публичный дом».

Светик влюбился в эту балерину, страдал, чуть ли не вены хотел резать. Она над ним издевалась, относилась по принципу: «Мальчишка-паж, иди туда, иди сюда».

Мне Святослав потом рассказывал: «Ко мне очень мило относились мужчины из балета. „Какой прелестный мальчик“, — говорили. Тогда я не понимал истинную природу их симпатии. Но они ничего такого себе не позволяли. И я к ним тоже очень хорошо относился».

Отклонения были у Нины. Я не берусь судить, но молва светская говорила, что ее настоящей любовью была художница Елена Ахвледиани.

Я, конечно, во всех этих делах не искушена. Но помню, в лагере было довольно распространено лесбиянство, когда женщина смотрела на женщину с вожделением.

Мы обо всем говорили со Светиком, я рассказывала ему и об этом тоже. «Для меня это было страшно», — говорила я.

И он соглашался. Говорил: «Для меня тоже. Неужели ты думаешь, что я могу допустить какие-то физические отношения с мужчинами? Нет!»

* * *

Удивительная история приключилась несколько лет назад. У меня дома зазвонил телефон. Я подняла трубку и услышала голос Митюли. Это было 20 марта, в день рождения Светика.

— Вера, вы знаете, какой сегодня день?

— Конечно знаю, Митюля.

— Я нарочно решил позвонить вам именно сегодня. Потому что кроме вас и Славы у меня никого нет.

Почему он так сказал, для меня так и осталось загадкой. При этом о Нине он почему-то не вспомнил.

Хотя был ее истинной страстью. Но тут у меня к Нине скорее сочувствие. Я даже ее перед Светиком в чем-то защищала.

«Это шекспировские страсти», — говорила.

Но он возражал: «Это не Шекспир. А Шарль де Лакро, „Опасные связи“».

* * *

Видите, какая судьба. Вы же знаете, что у меня никогда не было мужа и, естественно, детей. И Светик был для меня единственным близким, во всех отношениях, мужчиной. И могу сказать, что он был совершенно нормальным.

Выражение «make love» раньше означало «ухаживание». Для меня Светик в близких отношениях — это всегда ласка и нежность. А все остальное…

Мне говорят: «Вы любили Юру Нагибина».

Да, любила, но это было другое чувство. Он мне, скорее, нравился.

* * *

Юрку я тоже часто вспоминаю. Его ведь не жаловали родители первой жены, не хотели признавать. Зато когда он начал печататься, Асмус меня уже спрашивали: «Ну вы ведь знаете нашего Юрку?» Но с их дочерью он вскоре расстался.

Дольше всего задержался с Беллой. Какой она была красивой!

А когда выпивала и начинала вас задевать, то становилась похожа на татарского воина, она ведь наполовину была татарка.

Беллу очень интересовали мои лагерные истории. Одну из них она даже записала.

Я рассказывала ей о том, как в заключении жили плененные немцы. Уже после Победы их арестовывали прямо в Берлине. Женщины, например, отправлялись в магазин за продуктами. Их хватали и приговаривали к нескольким годам лагеря «за измену родине». Эти немки потом не могли понять — какой именно родине они изменили?

Вместе со мной сидела одна немецкая старушка, которая, как говорили, приходилась правнучкой Гете. Вообще, немцы были удивительные люди. Во всем привыкшие к порядку, они слушались даже наших бригадиров.

Родственница Гете тоже хотела проявить себя перед бригадиршей и предложила вывозить с территории лагеря нечистоты.

Но лошадь, которую ей выделили, категорически отказывалась выполнять команды немки, так как понимала только русский мат. Старушка обратилась ко мне с вопросом, что такое мат. Я объяснила, что это очень плохие слова, в которых чаще всего склоняется самое святое слово — «мать». Но немка не испугалась: «Я же все равно не буду понимать, что говорю. Зато смогу честно выполнять свою работу».

И попросила бригадиршу обучить ее русскому мату. «Там-тара-рам!» — говорила бригадирша и заставляла немку повторять за собой. «Тям-тяря-рям!» — произносила старушка. «Да не „тям“, а „там!“» — ругалась бригадирша.

И, в конце концов, немка заговорила матом. Когда лошадь услышала привычные слова, то двинулась с места и работа пошла. К нам потом приезжали даже из соседних лагерей, чтобы посмотреть, как «перековывают врагов».

Юрке эта история тоже нравилась, он смеялся.

У меня в апреле было два дня: 3-го числа день рождения Нагибина, а 10-го Беллы. Я так их и называла — «юрин день» и «беллин день».

Ахмадуллина была замечательным человеком. Чудная, с нежнейшим цветом лица, фарфоровой кожей. Иногда ее прелесть даже казалась искусственной. Но она была искренним и пылким человеком. И, увы, душевно нездоровым.

Стоило ей выпить, в ней просыпалось критическое отношение к тем, кого она любила.

Обличала во всех смертных грехах Юрку и при этом любила его. Он, кажется, единственный, о ком она не упоминает в своих

воспоминаниях.

Юрка восхищался ею и никогда не завидовал ее успехам. «Я же знаю, насколько она одареннее меня», — говорил он мне.

Белла — великий поэт. Для меня она примыкает к Марине Цветаевой.

Ее детство прошло по детским садам, родители были из Коминтерна. Ксения Алексеевна, Юркина мать, когда ее что-то удивляло в поведении Беллы, обращалась ко мне: «Вера, ну что вы хотите от таких родителей?» При том, что у меня как раз никаких вопросов не было.

Белла в эвакуации была в Уфе. Какие она пишет стихи: «Белеет Уфа и больница…»

Она один из любимых моих поэтов. А как пишет об электричке, сравнивая ее со «всемирным звуком тоски». Белла — поэт от Бога.

И страшная Беллина болезнь… В ее стремлении к алкоголю было что-то нездоровое.

С Юркой были скандалы страшные, она уходила на соседние дачи к своим поклонникам, которые всегда были на ее стороне.

Последний раз вместе я их видела на ее 30-летии. Праздновали в ресторане «Арагви», но для меня то празднование носило погребально-официальный характер. На банкете были друзья Беллы, которых Юрка терпеть не мог.

В одном из пьяных приступов она назвала его «советской сволочью». В ответ Юрка собрал ее чемодан и выставил из дома: «Не хочу иметь с тобой ничего общего».

Она мечтала о ребенке, а Юра не хотел. Боялся Беллиного пьянства и себя не считал здоровым психически, со своей склонностью к депрессии, трагическим видением мира.

Во время очередного расставания Белла взяла и удочерила девочку. Жила на соседней даче и каждый день с коляской ходила мимо Юркиного дома. Ксения Алексеевна, помню, возмущалась.

Последний Беллин муж, Борис Мессерер, большой страстотерпец.

У него знаете, какой был отец! Асаф Мессерер — великий танцор. Помню его в балете «Красный мак», он буквально летел через всю сцену, падал и начинался танец с лентой, который изображал все страсти человеческие. На всю жизнь я это запомнила.

После ее расставания с Нагибиным я Беллу долго не видела. Только поздравляла с днем рождения. У нее собирались довольно своеобразные компании, а Боря все терпел, выдержка у него была колоссальная. Белла же начала и Борьку травить. Но он сумел подавить в себе протест и ценить и любить Беллу как

удивительного человека и поэта. И то, что она так долго продержалась, — заслуга Бори.

С Юркой мы тоже редко виделись. Когда встречались, обязательно вспоминали Беллу. Он знал, что я ее очень люблю и восхищаюсь. Мы много говорили о ней. И я чувствовала, что он ее продолжает любить. Да и она его любила, хотя где-то у нее была на него обида.

Под конец жизни Юрка, как я почувствовала, устал от успеха. Был озабочен только здоровьем мамы.

Ксения Алексеевна не дожила до 80 лет.

«С мамой я потерял любовь к жизни», — признался он мне.

* * *

У меня с Нагибиным были самые теплые отношения. Но любила я Светика. Каждый день его вспоминаю. И особенно ночью.

Мы с ним ведь все время ночью общались. С полуслова понимали друг друга. Помню, читали «Враг народа» Ибсена. Главного героя предали, но его женщина сохранила к нему любовь. И когда мы дочитали до этого момента, то одновременно посмотрели друг на друга с какой-то высшей радостью.

В отношениях с ним меня никогда не коснулось грубое, резкое.

Если бы он женился на Оле Геккер, я бы просто осталась ее подругой и никаких близких отношений с ним не было. А так… такие отношения были.

И могу сказать — мне, конечно, не с кем сравнить — в Светике было сосредоточено все.

Кроме любви к нему у меня было и чувство жалости, что он такой маленький и беззащитный.

Он был ночным человеком, и будить его было непросто. Я говорила: «Свет, сейчас Лю придет». Это мы мою сестру так называли.

Перед ее возвращением с работы часам к пяти вечера я Светика начинала поднимать. Брала мокрое полотенце и протирала ему мордочку. А он жалобно просил: «Ну не надо мордочку».

Я помню, Люба сидела и что-то шила. А Светик без конца приставал к ней с просьбой дать какую-то книгу.

В конце концов Люба не выдержала: «Отстань!»

Светик замолчал на минуту, а потом сказал ей: «А знаешь, я бы никому не смог сказать „отстань“».

И вот это свойство Святослава почему-то совершенно не замечают. Однажды он пришел ко мне и рассказывает: «У нас были гости и без конца говорили мне комплименты. Я слушал и улыбался. У меня лицо заболело. Мне стыдно сейчас, что я улыбался».

Если бы вы хотели подружиться со Светой, то должны были общаться с ним на равных и говорить о чем угодно, но только не о том, как он прекрасно играл…

Он вел дневники. Бумаги лежали у меня дома в огромном толстом желтом портфеле. Перед своей, оказавшейся последней, долгой поездкой за границу, которая включила и визит к родителям Монсенжона на море, Светик этот портфель забрал. Сказал мне: «Я хочу просмотреть записи, может, что-то выброшу. А потом принесу обратно, не хочу, чтобы бумаги там лежали». Помню, он пришел с очень преданным ему Виктором и взял этот портфель.

Потом Света в открытках писал: «Випа, вернусь — посмотрим дневники». Он хотел убрать какие-то резкие нечаянные замечания, что часто бывает в дневниках.

Многое он сам мне зачитывал. Я иногда удивлялась каким-то пессимистичным записям: «Шел дождь, хотелось только спать». Обращала на это внимание Светика, и он отвечал: «Ну, это не уберем». Но не успел…

* * *

Он был очень скромен. Говорил, что исполнитель — никогда не гений. Гений только творец.

Знал, конечно, что он — большой музыкант. Но дар Бога принимал спокойно. Вы же не гордитесь тем, что умеете дышать…

Таким был Светик. Не выносил скандала. Во время страшной ссоры Нины и Володьки Мороза он взял и разбил стекло в двери.

«Когда они дошли до проклятий друг друга, я подошел к стеклянной двери и ударил по стеклу рукой. Они ошалели, Володька бросил ключи и ушел», — рассказывал мне Светик.

Когда после этого Володька женился на Наташе Гутман, на ее имя в доме был наложен запрет. 18 лет они не виделись.

Нина Львовна была против. А Светик не мог с ней ссориться. Это характер Святослава.

«Випа, Наташа — такая чудна девочка и не может быть в моем доме. Такие начнутся из-за этого истерики! Я не то, что боюсь. Но знаю, что тогда мне станет так тошно, что играть я не

смогу. А если не смогу играть, то это конец».

И мы встречались тайно у меня. Светик был не борец.

Для меня он был и ребенком наивным, который мог часами играть с кошкой, при этом даже опаздывая куда-то. Как-то все наши друзья его ждали. Светик задерживался — пришел в какую-то семью, а там были черепахи.

«Они ползали, я стал с ними играть. Черепахи лапы вытягивали, а они у них, как у кошек. Я так заинтересовался, что не мог уйти», — рассказывал он.

Вот в этом весь Святослав.

И при этом он же не отойдет от рояля, пока не выполнит то, что задумал. В нем были точность и верность тому, во что верит.

* * *

Нас всегда связывало чувство абсолютного доверия. От знакомства и до самого конца.

За неделю до смерти Светика я была у него на даче. Это был такой несовременный домик, с верандой, небольшим мезонином, дореволюционной постройки.

Святослав был наполнен жизнью. Предложил посидеть в саду. Мы вынесли кресло и расположились на воздухе.

Он бережно и любовно вспоминал наши дни на улице Фурманова, вспоминал директора музея имени Пушкина Ирину Антонову, у них в один день дни рождения. «Я благодарен ей, она ведь спасла мои картины».

У Светика вообще была очень хорошая память. С такой любовью он говорил о Наташе Гутман, об Олеге Кагане: «Почему он ушел раньше меня?»

Сказал, что объездил весь свет, но ничего лучше Тарусы и Звенигорода не видел. «Я так благодарен Юре Башмету, что он меня сейчас возил по окрестностям».

О смерти не думал. Абсолютно. Наоборот, говорил о планах на будущий год, собирался играть.

В реанимации, где он находился со своим врачом Ириной, сказал: «Мне хорошо, но я очень устал». Его же все время кололи лекарствами, и сердце просто не выдержало.

Нину к нему не пустили. Если бы он попросил, конечно, ее бы провели. Но он не попросил.

У меня под подушкой лежат фото Светика…

Он любил дразнить. Говорил: «Випа, вот когда я умру..», и я, к его великому удовольствию, тут же начинала плакать. Просила его: «Не смей, замолчи!»

У меня огромная признательность Наташе Гутман, которая сумела Нину отвлечь выбором места для могилы. А мне позвонила: «Вера, полтора часа в вашем распоряжении, идите и прощайтесь».

Мы с моей племянницей Олей, Светик был ее крестным, пошли на Бронную, где жил Рихтер. Поднимались пешком на 16-й этаж, лифт не работал. В квартире уже находилось много людей, но меня сразу пропустили к Светику. И я была с ним наедине.

Из окон комнаты, где он лежал, был виден Кремль. Светик лежал и, казалось, спал. И чуть-чуть улыбался.

У меня было абсолютное оцепенение и огромное удивление перед тем, что произошло. До этого одна мысль, что я могу пережить Светика, была мне страшна.

Я стояла, смотрела на него и не могла понять, как это возможно.

Говорила с ним: «Светик, что ж ты сделал? Как ты мог, деточка?»

Было ощущение Зазеркалья: я перешла в другую страну, где все было иначе.

Потом, спустя время, я, например, могла почувствовать на мгновение радость от наступившей весны, но тут же останавливала себя: «Светика же нет, с кем делиться этой радостью?»

Как в одной лагерной песне украинцы пели: «К чиму весна, коли тэбэ нема?»

Для меня совершенно все равно, как он играл. Бог с ним, мало ли кто хорошо играл. Были же великие Горовиц, Софроницкий.

Я понимаю, что Рихтер был выдающимся музыкантом. Но для меня важно то, каким он был человеком. Просто Светиком, чью мордочку было жалко обливать холодной водой.

Его всегда не хватает.

Я все время думаю о том, как бы он отреагировал на то или иное событие. Здесь, думаю, возмутился, а здесь бы рассмеялся.

Думаю, нашу книгу он бы одобрил.

Да, мне бы так хотелось, чтобы вы написали. Не знаю, в какой форме. Но для меня важно, чтобы из наших разговоров вырисовалась личность Святослава.

Как я рада, что успела все рассказать. Хочу, чтобы люди прочитали и узнали, как все было на самом деле.

* * *

Меня саму Господь не отдарил никакими талантами.

Когда я была в Англии, то в монастыре в графстве Кент мне подарили список с молитвы монахов, которые жили еще при Генрихе Восьмом. Очень мудрая молитва. Она висит у меня на самом видном месте.

«Господи, я становлюсь старше, дай мне смирения и мудрости не пытаться обучать всех, не считать себя самой лучшей, не ворчать на людей. Дай сосредоточиться на любви. Дай мне, Господи, быть способным искренно радоваться успехам других и тому, что Ты нам каждый день посылаешь».

Это очень мудрые слова. Потому что зависть и злоба — лучшее украшение в короне Дьявола.

Замечательное назидание самим себе. Я стараюсь ему следовать…

P.S.

Когда я уходил от Веры Ивановны, мне вдруг стало жалко — и Випу, и наши встречи, которые теперь оставались в прошлом, и героев этой книги.

Впрочем, как отделить эти два чувства — жалости и любви — друг от друга? Я не знаю. Да и нужно ли это?..

Москва, ноябрь 2011 г.